Мария Башкирцева. Дневник

Автор:
Мария Башкирцева

Мария Башкирцева. Дневник

Мария Константиновна Башкирцева

Мадемуазель Мария Башкирцева скончалась от туберкулеза в двадцать пять лет, прожив короткую, но очень яркую жизнь. Она была необыкновенно одаренной девушкой: замечательно пела, свободно говорила на нескольких европейских языках, серьезно занималась живописью, дружила с выдающимися людьми своей эпохи – Эмилем Золя, Ги де Мопассаном. Картины Башкирцевой выставлены в Третьяковской галерее, Русском музее, а также в галереях Амстердама, Парижа и Ниццы. С десяти лет Муся, как называли Башкирцеву ее близкие, жила в Европе, преимущественно в Париже. Дневниковые записи девушка вела на французском языке с двенадцати лет, и они являются уникальным психологическим документом становления личности, а также иллюстрируют яркий литературный талант автора. В дневнике перед читателем предстает очень талантливая, романтичная, умная, сильная, но при этом тщеславная и своевольная девушка. Дневник Башкирцевой издан посмертно, переведен на многие европейские языки, именно Марии Башкирцевой посвятила свой первый поэтический сборник Марина Цветаева, а Ги де Мопассан так сказал о Марии: «Это была единственная роза в моей жизни…»

Мария Башкирцева

Дневник

Предисловие автора

К чему лгать и рисоваться! Да, несомненно, что мое желание, хотя и не надежда, остаться на земле во что бы то ни стало. Если я не умру молодой, я надеюсь остаться в памяти людей как великая художница, но если я умру молодой, я хотела бы издать свой дневник, который не может не быть интересным. Но так как я сама говорю об издании, легко подумать, что мысль предстать на суд публики испортила, т. е. лишила эту книгу ее единственного достоинства; это неверно! Во-первых, я очень долго писала, совершенно об этом не думая; а потом – я писала и пишу безусловно искренно именно потому, что надеюсь быть изданной и прочитанной. Если бы эта книга не представляла точной, абсолютной, строгой правды, она не имела бы никакого смысла. И я не только все время говорю то, что думаю, но могу сказать, что никогда, ни на одну минуту не хотела смягчать того, что могло бы выставить меня в смешном или невыгодном свете. Да и наконец, я для этого слишком высоко ставлю себя. Итак, вы можете быть вполне уверены, благосклонный читатель, что я вся в этих страницах. Быть может, я не могу представить достаточного интереса для вас, но не думайте, что это я, думайте, что просто человек, рассказывающий вам все свои впечатления с самого детства. Это очень интересный человеческий документ. Спросите у Золя, или Гонкура, или Мопассана. Мой дневник начинается с 12 лет, хотя представляет интерес только с 15–16 лет. Таким образом остается пополнить недостающее, и я намерена написать нечто в роде предисловия, которое даст возможность лучше понять этот литературный и человеческий памятник.

Итак, предположите, что я знаменита, и начнем.

Я родилась 11 ноября 1860 года. Отец мой был сын генерала Павла Григорьевича Башкирцева, столбового дворянина, человека храброго, сурового, жесткого и даже жестокого. Он был произведен в генералы после Крымской войны, если не ошибаюсь. Он женился на приемной дочери одного очень знатного лица, которая умерла тридцати восьми лет, оставив ему пять человек детей – моего отца и его четырех сестер.

Мать моя вышла замуж двадцати одного года, отвергнув сначала несколько прекрасных партий. Она – урожденная Бабанина.

Со стороны Бабаниных мы принадлежим к старинному дворянскому роду; дедушка всегда похвалялся тем, что происходит от татар времен первого нашествия. Боба Нина – татарские слова, изволите видеть; я могу только смеяться над этим… Дедушка был современником Пушкина, Лермонтова и др. Он был поклонник Байрона, человек образованный, поэт. Он был военный и жил на Кавказе… Еще очень молодым он женился на m-lle Жюли Корнелиус, кроткой и хорошенькой девушке 15 лет. У них было девять человек детей.

После двух лет супружества мать моя переехала со своими двумя детьми к своим родителям. Я оставалась всегда с бабушкой, которая обожала меня, и с тетей, которая, впрочем, иногда уезжала вместе с моей матерью. Тетя – младшая сестра моей матери – женщина некрасивая, готовая жертвовать и действительно жертвующая собой для всех и каждого.

В Ахтырке, где поселилось все семейство, мы встретили Р-ва. У него была там сестра, с которой он не виделся в течение 20 лет и которая была гораздо богаче его. Здесь-то и явилась впервые идея женить его на моей тете. В Одессе мы жили с Р-вым в одном отеле. В один прекрасный день было решено, что дело нужно покончить, потому что тетя моя никогда не найдет лучшей партии.

Их женили, и все вернулись в Ахтырку, а через 3 дня по возвращении бабушка скончалась.

В 1870 году, в мае месяце, мы отправились за границу. Мечта, так долго лелеемая моей матерью, исполнилась. Около месяца провели мы в Вене, упиваясь новостями, прекрасными магазинами и театрами. В июне мы приехали в Баден-Баден, в самый разгар сезона роскоши, светской жизни. Вот члены нашей семьи: дедушка, мама, муж и жена Р-вы, Дина (моя двоюродная сестра), Поль и я; кроме того, с нами был милейший, несравненный доктор Валицкий. Он был по происхождению поляк, но без излишнего патриотизма, – прекрасная, но очень ленивая натура, не переносившая усидчивого труда. В Ахтырке он служил окружным врачом. Он был в университете вместе с братом моей матери и не переставал бывать у нас в доме. При отъезде за границу понадобился доктор для дедушки, и Валицкий отправился вместе с нами.

В Бадене я впервые познала, что такое свет и манеры, и испытала все муки тщеславия. У казино собирались группы детей, державшиеся отдельно. Я тотчас же отличила группу шикарных, в моей единственной мечтой стало – примкнуть к ним. Эти ребятишки, обезьянничавшие со взрослых, обратили на нас внимание, и

одна маленькая девочка, по имени Берта, подошла и заговорила со мной. Я пришла в такой восторг, что замолола чепуху, и вся группа подняла меня на смех обиднейшим образом…

Но я еще недостаточно сказала о России и о себе самой, это главное. По обычаю дворянских семей, живущих в деревне, у меня было две гувернантки: одна русская, другая француженка. Первая (русская), о которой я сохранила воспоминание, была некто m-me Мельникова, светская женщина, образованная, романтичная, разъехавшаяся с мужем и сделавшаяся гувернанткой, скорее всего, по безрассудству, под влиянием чтения бесчисленных романов. Она была другом дома, и с ней обходились как с равной. Все мужчины за ней ухаживали, и в одно прекрасное утро она бежала после какой-то удивительно романической истории. У нас в России романтизм в моде. Она могла бы преспокойно проститься и уехать, но славянская натура, приправленная французской цивилизацией и чтением романов, – странная вещь! В качестве несчастной женщины эта дама должна была обожать малютку, порученную ее попечениям; я же уже одной своей склонностью к рисовке уже оплачивала ей – в ее глазах – за это обожание… И семья моя, жадная до всяких приключений, вообразила, что ее отъезд должен был пагубно отозваться на моем здоровье; весь этот день на меня смотрели не иначе, как с состраданием, и я даже подозреваю, что бабушка заказала для меня, в качестве больной, особенный суп. Я чувствовала, что действительно бледнею от этого изливавшегося на меня потока чувствительности…

Я была вообще худа, хила и некрасива, что не мешало всем видеть во мне существо, которое несомненно, неизбежно должно было сделаться со временем всем, что только может быть наиболее красивого, блестящего и прекрасного. Однажды мама отправилась к гадальщику-еврею.

«У тебя двое детей, – сказал он ей, – сын будет – как все люди, но дочь твоя будет звездою!.»

Один раз, когда мы были в театре, какой-то господин сказал мне, смеясь:

– Покажите-ка вашу ручку, барышня! О! судя по перчатке, можно с уверенностью сказать, что вы будете ужаснейшей кокеткой!

Я была в полном восторге!

С тех пор, как я сознаю себя – с трехлетнего возраста (меня не отнимали от груди до трех с половиною лет), все мои мысли и стремления были направлены к какому-то величию. Мои куклы были всегда королями и королевами, все, о чем я сама думала, и все, что говорилось вокруг моей матери, – все это, казалось, имело какое-то отношение к этому величию, которое должно было неизбежно прийти.

В пять лет я одевалась в кружева моей матери, украшала цветами голову и отправлялась танцевать в залу. Я изображала знаменитую танцовщицу Петипа, и весь дом собирался смотреть на меня. Поль не был ничем выдающимся, да и Дина не заставляла предполагать в себе ничего особенного, хотя была дочерью любимого дяди Жоржа.

Еще один эпизод: как только Дина появилась на свет Божий, бабушка без всяких церемоний отняла ее у ее матери и оставила у себя. Это было еще до моего рождения.

После m-me Мельниковой моей гувернанткой была m-lle Софи Д., барышня 16 лет – о, святая Русь!!. – и другая, француженка, по имени m-me Брен. Она носила прическу времен Реставрации, имела бледно-голубые глаза и выглядела весьма томной со своими пятидесятью годами и со своею чахоткой. Я очень любила ее. Она заставляла меня рисовать. Помню, я нарисовала с ней маленькую церковь – черточками. Вообще, я часто рисовала; когда взрослые садились за карты, я присаживалась рисовать на зеленом сукне.

M-me Брэн умерла в 1868 году в Крыму. Что до молоденькой русской, считавшейся членом семьи, то она чуть было не вышла замуж за одного молодого человека, которого привел доктор и который был известен своими неудачными попытками жениться. На этот раз дело, казалось, шло прекрасно, как вдруг, однажды вечером, войдя зачем-то в ее комнату, я увидела m-lle Софи, которая рыдала как безумная, уткнувшись лицом в подушки.

Собралась вся семья:

– Что такое? Что случилось?..

Наконец, после долгих слез и рыданий, бедняжка говорит, что она никогда не могла бы… нет, никогда!.. И снова слезы! Но что такое? отчего?..

– Оттого что… оттого что я никак не могу привыкнуть к его лицу!.. Жених слышал это из соседней залы. Через час он уже упаковывал свой сундук, обливая его слезами, и уезжал. Эго была семнадцатая неудачная попытка вступить в брак!..

Я так хорошо помню это «я не могу привыкнуть к его лицу», это до такой степени исходило из души, что я тогда же поняла, до какой степени должно быть ужасно выйти замуж за человека, к лицу которого не можешь привыкнуть.

Когда была объявлена война, мы перебрались из Баден-Бадена в Женеву. Я уезжала с сердцем, полным горечи и проектов мщения. Каждый вечер, ложась спать, я читала про себя следующую дополнительную молитву:

«Господи! Сделай так, чтобы у меня никогда не было оспы, чтобы я была хорошенькая, чтобы у меня был прекрасный голос, чтобы я была счастлива в семейной жизни и чтобы мама жила как можно дольше!»

В Женеве мы жили в «Hotel de la Couromie» на берегу озера. Здесь мне взяли учителя рисования, который приносил мне модели для срисовывания: хижинки, где окна были нарисованы в виде каких-то палочек, и не имели ничего общего с настоящими окнами настоящих хижин. Мне это не нравилось: я не могла допустить, чтобы окна были сделаны таким образом. Тогда добрейший старик предложил мне срисовать вид из окна прямо с натуры. Как раз в это время мы переехали из отеля в один семейный пансион, откуда открывался вид на Монблан, и я срисовала тщательнейшим образом все, что было видно из окна: часть Женевы и озера; но все это так и осталось там, не помню уж хорошенько почему…

В Бадене успели снять с нас портреты, которые показались мне просто безобразными, уродливыми в их усилии казаться красивыми…

Когда я умру, прочтут мою жизнь, которую я нахожу очень замечательной (впрочем, иначе и быть не может). Но я ненавижу всякие предисловия (они помешали мне прочесть много прекрасных книг) и всякие предуведомления этих извергов-издателей. Поэтому-то я и пишу сама мое предисловие: без него можно было бы обойтись, если бы я издавала все, но я желала бы ограничиться тем, что начинается с 18-летнего возраста: все предшествующее слишком длинно. Итак, я даю вам заметки, достаточные для понимания дальнейшего: я часто

возвращаюсь к прошедшему по поводу того или другого.

Если я умру вдруг, внезапно захваченная какой-нибудь болезнью!.. Быть может, я даже не буду знать, что нахожусь в опасности, – от меня скроют это. А после моей смерти перероют мои ящики, найдут этот дневник, семья моя прочтет и потом уничтожит его, и скоро от меня ничего больше не останется, ничего, ничего, ничего! Вот что всегда ужасало меня! Жить, обладать таким честолюбием, страдать, плакать, бороться и в конце концов – забвение… забвение, как будто бы ты никогда и не существовал…

Если я и не проживу достаточно, чтобы быть знаменитой, дневник этот все-таки заинтересует натуралистов: это всегда интересно – жизнь женщины, записанная изо дня в день, без всякой рисовки, как будто бы никто в мире не должен был читать написанного, и в то же время с страстным желанием, чтобы оно было прочитано; потому что я вполне уверена, что меня найдут симпатичной; и я говорю все, все, все. Не будь этого – зачем бы… Впрочем, будет само собой видно, что я говорю все.

Париж, 1 мая 1884 г.

1873–1874

1873

Ницца, вилла Aqua-Viva. Январь (в 12-летнем возрасте)

Тетя Софи играет на рояле малороссийские песни, и это напоминает мне деревню: я совсем перенеслась туда мысленно, и о чем же я могу прежде всего вспомнить из того времени, как не о бедной бабушке. Слезы подступают мне к глазам, они уже на глазах и сейчас побегут; вот они уже потекли, и я счастлива.

Бедная бабушка! Мне так грустно, что я больше уже не могу тебя видеть. Как она любила меня, и как я ее любила. Но я была слишком мала, чтобы любить тебя так, как ты этого заслуживала. Я так растрогана этим воспоминанием! Воспоминание о бабушке есть воспоминание благоговейное, священное, дорогое, но оно не живо. Господи! Дай мне счастья в жизни, и я не буду неблагодарной! И что я говорю? Мне кажется, что я создана для счастья; сделай меня счастливой, Боже мой!

Тетя Софи все играет. Звуки по временам доносятся до меня и проникают мне в душу. Я не готовлю уроков – завтра праздник.

Господи! Дай мне герцога Г.[1 - Английский аристократ герцог Гамильтон энд Брэнд.], я буду любить его и сделаю его счастливым, и сама я буду счастлива и буду помогать бедным! Грешно думать, что можно купить милость Бога добрыми делами, но я не знаю, как это выразить.

Я люблю герцога Г. Я не могу сказать ему, что я его люблю, да если бы я и сказала, он не обратил бы никакого внимания. Боже мой, я молю Тебя… Когда он был здесь, у меня была цель, чтобы выходить, наряжаться, а теперь!.. Я выходила на террасу в надежде увидеть его издали хоть на одну секунду. Господи, помоги мне в моем горе, я не могу просить большего, услышь же мою молитву. Твоя благость так бесконечна. Твое милосердие так велико. Ты так много сделал для меня!.. Мне тяжело не видеть его на прогулках. Его лицо так выделялось среди вульгарных лиц Ниццы.

Винсент Ван Гог. Кипарис. 1889

Клод Моне. Сливовые деревья в цвету. 1879

Вчера m-me Говард пригласила нас провести воскресенье с ее детьми. Мы были уже совсем готовы к отъезду, когда m-me Говард вошла и сказала, что была у

мамы и выпросила у нее позволение оставить нас у себя до вечера. Мы остались, а после обеда мы пошли в большую залу, где было темно, и девочки просили меня петь. Они стали на колени, также и другие дети… Мы много смеялись; потом я спела «Santa Luchia», «Солнце встало», «Я не больше как пастушка» и несколько рулад. Они пришли все в такой восторг, что стали ужасно целовать меня – именно ужасно. Я спела недурно. Взрослые слушали меня из соседней комнаты. Сначала я не знала этого, потом я и знала, но продолжала. Дети говорили со мной и смотрели на меня с выражением удивления и благоговения к моему голосу. Они предсказывали мне блестящую будущность. Они были в таком восторге, что Лидия поцеловала мне плечо и даже руку; я не могу описать того фурора, который я произвела у них. Мальчики также не отставали. Если бы я могла произвести такое же впечатление на публику, я не задумалась бы поступить на сцену сию же минуту.

Это такое великое чувство – сознавать, что тобой восхищаются за что-нибудь большее, чем туалет. Я так счастлива от этих восторженных слов детей. Что же это было бы, если бы мною так же восхищались другие? Право, я не ожидала, что так понравлюсь им.

Я создана для триумфов и сильных ощущений, поэтому лучшее, что я могу сделать, – это сделаться певицей. Если Бог поможет мне сохранить, увеличить и укрепить мой голос, тогда я могу достигнуть триумфа, которого так жаждет душа моя. И так я могу достигнуть счастья быть знаменитой, известной, обожаемой, этим путем я могу приобрести того, кого люблю. Такою, какова я теперь, я имею мало надежды на его любовь – он даже не знает о моем существовании. Но когда он увидит меня окруженной славой!.. Мужчины честолюбивы… И я могу быть принята в свете, потому что я не буду знаменитостью, вышедшей из табачной лавки или грязной улицы. Я благородного происхождения, я не имею необходимости что-нибудь делать, мои средства позволяют мне это, и, следовательно, мне будет еще легче возвыситься, и я достигну еще большей славы. Тогда жизнь моя будет совершенна. Слава, популярность, известность повсюду – вот мои грезы, мои мечты.

Выходя на сцену – видеть тысячи людей, которые с замиранием сердца ждут минуты, когда раздастся ваше пение. Сознавать, глядя на людей, что одна нота вашего голоса повергнет всех к вашим ногам. Смотреть на них гордым взглядом (я все могу!) – вот моя мечта, мое желание, моя жизнь, мое счастье… И тогда герцог Г. придет вместе с другими повергнуться к моим ногам, но он будет

принят не так, как другие.

Милый, ты будешь ослеплен моим блеском и полюбишь меня, ты увидишь мое торжество, и ты действительно достоин только такой женщины, какой я надеюсь быть. Я недурна собой, я даже красива – да, скорее красива; я очень хорошо сложена, как статуя, у меня прекрасные волосы, я хорошо кокетничаю, я умею держать себя с мужчинами, я умею теперь очень хорошо позировать… Теперь я, конечно, не могу приложить этого на практике, но потом… Словом, быть мировой знаменитостью.

Я честна и никогда не дам ни одного поцелуя никому, кроме моего мужа, и я могу похвастаться тем, что не всегда могут сказать про себя девочки 12–14 лет: тем, что еще никогда никто не целовал меня, и я сама никого не целовала… Тогда молодая девушка, которую он увидит на высочайшей ступени славы, какая только доступна женщине, девушка, любящая его с самого детства, честная и чистая, удивит его, он захочет жениться на мне во что бы то ни стало, и женится на мне – из гордости. Но что я говорю! Почему же я не могу предположить, что он может полюбить меня! О, да, с Божьей помощью… Бог помог мне найти средство привлечь того, кого я люблю… Благодарю Тебя, Господи, благодарю Тебя.

Сегодня утром я слышу стук экипажа на улице, гляжу – и вижу герцога Г., едущего на четверке лошадей со стороны бульвара. Боже мой! Ведь если он здесь, он будет участвовать в апрельской охоте на голубей; я непременно поеду.

Сегодня я еще раз видела герцога Г. Никто не умеет держать себя, как он; он имеет вид какого-то короля, когда он едет в своей карете.

Сегодня утром я читала «Swiss Times», я просматривала список путешественников, не только в Ницце, но везде. Я нашла герцога Г. в Неаполе. Этот список – от 10 марта. Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты дал мне возможность узнать, где он был. Когда я прочла его имя, я не верила глазам своим – так оно для меня дорого.

На прогулке я несколько раз видела Ж.[2 - Любовница герцога Гамильтона итальянка по имени Джойя.] всю в черном. Она очаровательна, впрочем, не

столько она, сколько ее волосы; ее туалет безупречен, нет ничего, что нарушало бы впечатление. Все благородно, богато, великолепно. Право, ее можно было бы принять за даму высшего круга. Вполне естественно, что все это способствует ее красоте, – ее дом с залами, маленькими уютными уголками, с мягким освещением, проходящим через драпировки и зеленую листву. И она сама, причесанная, одетая, убранная как нельзя лучше, сидящая – как царица – в прекрасном зале, где все приспособлено к тому, чтобы выставить ее в наилучшем свете. Вполне естественно, что она нравится и что он любит ее. Если бы у меня была такая обстановка, я была бы еще лучше. Я была бы счастлива с моим мужем, потому что я не стала бы распускаться, заботилась бы о том, чтобы ему нравиться так же, как я заботилась об этом, когда хотела понравиться ему в первый раз. Я вообще не понимаю, почему это мужчина и женщина, пока они еще не женаты, могут постоянно любоваться друг другом и стараться друг другу нравиться, а после свадьбы распускаются и совершенно перестают об этом заботиться.

Почему это думают, что со словом «брак» все проходит и остается холодная, скучная дружба. Зачем опошлять понятие о браке, представляя себе при этом жену в папильотках, в капоте, с гольдкремом на носу и постоянным желанием раздобыть от мужа денег на туалет.

Почему женщина должна неглижировать собой перед человеком, для которого она должна была бы заботиться о своей внешности? Я не понимаю, как можно относиться к мужу как к какому-то домашнему животному, а до свадьбы желать нравиться тому же самому человеку. Почему бы не оставаться по отношению к мужу настолько же кокетливой и не относиться к нему так же, как к постороннему человеку, который вам нравится, с тем различием, конечно, что постороннему человеку нельзя позволить ничего лишнего? Неужели это потому, что можно любить друг друга открыто, потому что это не считается предосудительным и потому что брак благословлен Богом? Неужели потому, что люди находят удовольствие только в том, что считается запрещенным? Боже мой, это не должно быть так, я совсем иначе понимаю все это.

Я напрягаю свой голос, когда пою, и этим порчу его; я уже несколько раз давала себе слово не петь больше (слово, которое я уже сто раз нарушала), пока я не буду брать уроков, и я молила Бога усилить и укрепить мой голос. Чтобы запретить себе петь, я даю ужасный зарок, а именно, что я потеряю голос, если буду петь. Это ужасно, и я сделаю все, чтобы выполнить этот зарок.

Сегодня я в моем допотопном платьице, в короткой юбочке и бархатном казаке, в тюнике и безрукавке Дины; это очень мило. Я думаю это потому, что я умею носить платье, и потому, что у меня хорошие манеры (я была похожа на маленькую старушку). Многие на меня смотрели. Хотела бы я знать, почему на меня смотрели: потому, что я смешна, или потому, что красива. Я хотела бы спросить у кого-нибудь – у какого-нибудь молодого человека, – красива ли я (самым наивным тоном). Я всегда предпочитаю верить тому, что приятнее, и предпочитаю верить скорее тому, что я красива. Может быть, я и ошибаюсь, но если даже это иллюзия, я предпочитаю оставаться при ней, потому что это более лестно. Что вы хотите? В этом мире надо всегда стараться смотреть на вещи с их лучшей стороны. Жизнь так прекрасна и так коротка!

Я думаю о том, чем будет мой брат Поль, когда он будет большой. Что он будет делать? Он не может проводить жизнь, как многие другие: сначала прогуливаться, потом броситься в мир игроков и кокоток, фи! Впрочем, он на это и не способен; я буду ему писать каждое воскресенье рассудительные письма, не советы, а так – по-товарищески. Словом, я сумею взяться за дело и с Божьей помощью буду иметь на него влияние, потому что он должен быть настоящим человеком.

Я была так занята, что почти забыла (какой стыд!) об отсутствии герцога! Мне кажется, что нас разделяет такая громадная бездна, особенно если мы поедем летом в Россию. У нас серьезно об этом поговаривают… Как могу я думать, что он будет моим! Он думает обо мне не больше, чем о прошлогоднем снеге, я для него не существую. Если мы останемся зимой в Ницце, я еще могу надеяться, но мне кажется, что с отъездом в Россию все мои надежды разлетятся в прах, все, что я считала возможным, разрушается. Думая об этом, я чувствую, что сердце мое – не то что разбивается, но я чувствую какую-то тихую тупую боль, которая ужасна; я теряю все, что считала возможным. Я достигла высшей ступени горя, это какое-то изменение во всем моем существе. Как это странно, я только что думала об удовольствиях, о стрельбе в цель, а теперь голова моя полна самых грустных мыслей.

Я совсем разбита этими мыслями. О Боже мой! При мысли, что он никогда не полюбит меня, я просто умираю от тоски! У меня больше нет никакой надежды… Это было чистое безумие – желать невозможного. Я хотела слишком прекрасного! Но нет, я не должна так распускаться. Как я смею отчаиваться, да разве нет Бога, который всемогущ и который мне покровительствует! Как я смею думать таким образом! Разве Он не находится повсюду, заботясь о нас. Он

может все. Он всемогущ, для Него нет ни пространства, ни времени. Я могу быть в Перу, а герцог – в Африке, и если Он захочет, Он соединит нас. Как я могла хоть на одну минуту допустить эти безнадежные мысли, как я могла хоть на секунду забыть о Его божественной доброте! Неужели потому, что Он не дает мне сейчас же того, что я желаю, я могу отрицать Его? Нет, нет. Он милосерд и не допустит мою прекрасную душу терзаться преступными сомнениями.

О Господи! Услышь мою молитву, поддержи меня!

Эти мысли сверкнули в моей душе, как проблеск света, после всех горестей, которые наполняли мою голову. Я иду спать гораздо спокойнее, я вспомнила, что никакое расстояние ничего не значит, если в Его глазах я заслуживаю того, что прошу, и я молюсь. «Стучите и отворят вам» – эти святые слова поддерживают меня. Нет другого такого утешения, как вера в Бога! Как несчастны люди, которые ни во что не верят!

Винсент Ван Гог. Первые шаги (по мотивам картины Жана Франсуа Милле). 1890

Сегодня утром я показала m-lle Колиньон (моей гувернантке) одного угольщика, говоря: посмотрите, как этот человек похож на герцога Г. Она сказала, улыбаясь: «Какой вздор!» Произнести его имя уже доставило мне громадное удовольствие. Но я вижу, что когда ни с кем не говоришь о том, кого любишь, эта любовь как будто сильнее: это точно флакон с эфиром – если он закупорен, запах силен; если же оставить его открытым, он улетучивается. Потому-то любовь моя так и сильна, что о ней никогда не говорят, ни сама я не говорю о ней и храню ее всю про себя.

Я в таком грустном настроении, что не имею никакого определенного представления о моем будущем, т. е. я знаю, чего бы я хотела, но не знаю, что со мной будет в действительности. Как я была весела прошлой зимой, все улыбалось мне, я имела надежду. Я люблю какую-то тень, которая, быть может, никогда не будет моей. Я в отчаянии из-за платьев, я даже плакала. Мы были с тетей у двух портних, у них все плохо. Надо будет написать в Париж. Я не могу выносить здешних платьев, они придают мне какой-то жалкий вид.

Вечером я была в церкви, я говею – это первый день нашей Страстной недели.

Я должна сказать, что мне не нравится очень многое в моей религии, но не от меня зависит переделать ее. Я верю в Бога, в Христа, в Святую Деву Марию, я молюсь Богу каждый вечер, и мне нет дела до некоторых безделиц, которые не могут иметь никакого значения для истинной религии при истинной вере. Я верю в Бога, и Он добр ко мне и дает мне более, чем необходимое. О, если бы Он дал мне то, чего я так желаю! Бог сжалится надо мной, хотя я и могла бы обойтись без того, о чем прошу, но ведь я была бы так счастлива, если бы герцог обратил на меня внимание, и я благословляла бы имя Божье.

Я должна написать его имя, потому что если бы я оставалась долгое время, не говоря его никому и даже не написала бы его, я бы, кажется, не могла больше жить. Я бы треснула, честное слово. Это успокаивает, когда, по крайней мере, пишешь.

Сегодня на прогулке я замечаю наемную карету и в ней молодого человека – высокого, худощавого брюнета; мне кажется, что я в нем узнаю кого-то. Я вскрикиваю от изумления. Меня спрашивают, что со мной, и я отвечаю, что m-lle Колиньон наступила мне на ногу.

Между ним и его братом нет ничего общего, но все-таки я довольна, что его встретила. О, если бы хоть с ним-то познакомились, тогда через него можно было бы познакомиться и с его братом. За обедом Валицкий вдруг говорит: «Г.». Я покраснела, сконфузилась и пошла к шкафу. Мама упрекнула меня за это, говоря, что моя репутация и т. д., и т. д., что это нехорошо. Я думаю, что она несколько догадывается, потому что каждый раз, когда скажут «Г.», я краснею или быстро выхожу из комнаты. Однако она не бранит меня.

Все сидели в столовой, преспокойно болтая, в полной уверенности, что я занята уроками. Они и не подозревали, что со мной делается и каковы теперь мои мысли.

Я должна быть или герцогиней Г., этого я всего больше желаю (потому что Бог видит, до какой степени я люблю его), или знаменитой актрисой; но эта будущность не улыбается мне так, как первая. Это, конечно, лестно – видеть благоговение всего мира, начиная с самых малых и кончая монархами, но другое…

Да, я буду обладать тем, кого люблю, это совсем в другом роде, но я предпочитаю его.

Быть великосветской женщиной, герцогиней – я предпочитаю быть в этом обществе, чем считаться первой среди мировых знаменитостей, потому что это – совсем другой мир.

Нужно будет найти себе мужа со временем. Герцог… я больше не смею на это надеяться, ни даже думать о нем; сердце мое болит, я не смею больше любить его, и нужно найти кого-нибудь другого, которого я, быть может, даже не буду любить! В сотый раз я поручаю себя Богу и умоляю Его дать мне герцога. Он все может, но, быть может, Бог не считает меня достойной того, о чем я прошу. Кто позволил мне думать, что он когда-нибудь будет моим. О Боже мой, если я согрешила чем-нибудь, прости меня, прости маленькую безумницу! Господи, не наказывай меня! Жизнь кажется мне такой прекрасной, улыбающейся, не разочаровывай меня! Я обещаю никогда не возгордиться от своего счастья, я буду помогать бедным… Прости, прости меня!

Мама встала, и m-lle Колиньон тоже – она была больна. После дождя была такая чудесная погода, было так свежо, и деревья, освещенные солнцем, были так прекрасны, что я не могла учиться, тем более что сегодня у меня есть время; я пошла в сад, поставила стул у ключа, и вокруг меня была такая прекрасная картина: ключ окружен деревьями, так что не видно ни земли, ни неба, видишь только струйку ручейка и камни, поросшие мхом; и кругом деревья, самых разнообразных пород, освещенные солнцем. Трава такая зеленая, зеленая и мягкая, так что хотелось бы просто поваляться на ней. Все вместе образовало как бы равнину, такую свежую, мягкую, такую чудесную, что напрасно я бы старалась описать ее.

Если вилла и сад не изменятся, я приведу его сюда, чтобы показать ему место, где я так много о нем думала… Вчера вечером я молилась Богу, и, когда дошла до того места, где прошу Его, чтобы мы познакомились и чтобы он был моим, я заплакала, стоя на коленях. Уже три раза Он внимал моим молитвам. Первый раз я просила об игре в крокет, и тетя привезла мне его из Женевы. Другой раз я просила Его помочь мне научиться английскому языку, я так молилась, так плакала, и мое воображенье было так возбуждено, что мне представился в углу комнаты образ Богородицы, которая мне обещала. Я могла бы даже узнать этот

образ.

Клод Моне. Palazzo da Mula, Венеция. 1908

Вчера Он опять услышал меня: я плакала; я уже два дня не могла плакать, а когда стала молиться, я заплакала. Он услышал меня, да святится имя Его.

Я уже полтора часа жду к уроку m-lle Колиньон, и это вот каждый раз так! А мама упрекает меня и не знает, как это огорчает меня саму. Досада, возмущение так и жжет меня. M-lle Колиньон пропускает уроки, она заставляет меня терять время.

Мне тринадцать лет; если я буду терять время, что же из меня выйдет!

Кровь моя кипит, я просто бледнею, а минутами кровь ударяет мне в голову, сердце бьется, я не могу спокойно сидеть на месте, слезы душат мне горло, я стараюсь их удержать, но от этого я только еще более чувствую себя несчастной, ведь все это разрушает мое здоровье, портит мой характер, делает меня раздражительной, нетерпеливой. У людей, которые проводят жизнь спокойно, это отражается и на лице, а я то и дело возбуждена – следовательно, она крадет всю мою жизнь вместе с уроками.

В шестнадцать, семнадцать лет придут другие мысли, а теперь-то и время учиться. Какое счастье, что я не принадлежу к тем девочкам, которые воспитываются в монастыре и, выходя оттуда, бросаются, как сума сшедшие, в круговорот удовольствий, верят всему, что им говорят модные фаты, а через два месяца уже чувствуют себя разочарованными, обманутыми во всех своих ожиданиях.

Я не хочу, чтобы думали, что, окончив ученье, я только и буду делать, что танцевать да наряжаться. Нет. Окончив детское ученье, я буду серьезно заниматься музыкой, живописью, пением. У меня есть талант ко всему этому, и даже большой! Как это облегчает, когда пишешь! Теперь я несколько успокоилась; но все это влияет не только на мое здоровье, но и на мой характер

и даже на лицо. Меня бросает в краску, щеки мои горят, как огнем, а когда я потом и успокоюсь, они уже не выглядят свежо и розово. И я выгляжу всегда какой-то бледной и вялой, это по вине m-lle Колиньон, потому что причиной всему этому волнение, которое она меня заставляет переживать. У меня даже несколько болит голова после того, как я прокиплю так несколько времени. Мама обвиняет меня, она говорит, что я сама виновата, что не говорю по-английски, – как это мне обидно…

Я думаю, что когда-нибудь он прочтет этот дневник и найдет его глупым, особенно мои постоянные изъяснения в любви; я столько раз повторяла их, что они потеряли всякую силу.

M-me Савельева при смерти; мы отправляемся к ней; вот уже два дня, как она в бессознательном состоянии и ничего не говорит. В ее комнате сидит старая m-me Патон. Я посмотрела на постель, но сначала не могла ничего различить и искала глаза больной; потом я увидела ее голову, но она так изменилась, что из женщины полной стала совсем худой; рот открыт, глаза закрыты, дыхание сильное и тяжелое. Все говорили шепотом, но она не подавала никакого признака жизни; доктора говорят, что она ничего не сознает, но мне кажется, что она слышит и понимает все, что вокруг нее делается, и только не может ни крикнуть, ни даже ничего сказать. Когда мама прикоснулась к ней, она тяжело вздохнула. Старик Савельев встретил нас на лестнице и, захлебываясь от слез и рыданий, взял мамину руку и сказал: «Вы сами больны, вы совсем не бережетесь, моя бедная». Я молча обняла его. Потом пришла ее дочь и бросилась к постели, призывая мать свою. Бедная! Вот уже пять дней, как она в этом состоянии. Видеть свою мать со дня на день умирающей! Я вышла со стариком в другую комнату. Как он постарел за эти несколько дней! Все имеют какое-нибудь утешение, у его дочери свои дети, а он одинок, прожив со своей женой тридцать лет, это что-нибудь да значит! Хорошо ли, дурно ли он с ней жил, привычка имеет громадное значение.

Я несколько раз возвращалась к больной. Экономка ходит совсем заплаканная; отрадно видеть в прислуге такую привязанность к своей госпоже. Бедный старик совсем превратился в ребенка.

Ах, если только подумать, как жалок человек. Каждое животное может иметь, смотря по желанию, какую ему угодно физиономию; оно не обязано улыбаться, когда ему хочется плакать. Когда оно не хочет видеть себе подобных, оно их не

видит, а человек раб всего и всех. И между тем меня лично это, вообще говоря, не тяготит, я люблю и выезжать, и принимать.

Это первый раз, что мне приходится идти против своего желания, а сколько еще раз придется мне заставлять себя улыбаться в то время, как я буду готова плакать. Между тем я сама выбрала эту жизнь, эту светскую жизнь! Впрочем, когда я буду большая, у меня уже не будет неприятностей, я буду всегда весела…

M-me Савельева умерла вчера вечером. Мама и я отправились к ней; там было много дам. Что сказать об этой сцене? Скорбь направо, скорбь налево, скорбь написана на полу и на потолке, скорбь в пламени каждой свечи, скорбь даже в воздухе. У ее дочери была истерика; все плакали. Я целовала ей руки, повела ее и посадила рядом с собой; я хотела сказать ей несколько слов утешения – и не могла. Да и какие утешения? Одно – время! Я вообще нахожу всякие утешения банальными и глупыми. По-моему, больше всех жалко старика, который остался один! Один!! Один!!! О Боже, что делать? По-моему, все должно кончиться. Я так думала. Но если бы умер кто-нибудь из наших, я бы не могла рассуждать таким образом.

Сегодня у меня был большой спор с учителем рисования Бинза. Я ему сказала, что хочу учиться серьезно, начать сначала, что то, что я делаю, ничему не научает, что это пустая трата времени, что с понедельника я хочу начать настоящее рисование. Впрочем, не его вина, что он учил не так, как следует. Он думал, что до него я уже брала уроки и уже рисовала глаза, рты и т. д. и что рисунок, ему показанный, был мой первый рисунок в жизни, и притом сделанный мною самой.

Сегодняшний день несколько отличается от других дней, таких монотонных и однообразных. На уроке я попросила m-lle Колиньон дать мне одно арифметическое объяснение. На это она мне сказала, что я должна понять сама. Я ей заметила, что вещи, для меня непонятные, мне должны объяснять. «Здесь нет никаких должны», – сказала она. «Должны существуют всюду!» – отвечала я. – «Продолжайте». – «Подождите немного, я сначала пойму это, а потом уже перейду к следующему». Я отвечала наиспокойнейшим тоном, и она злилась, что не может найти ничего грубого в моих словах. Она крадет мое время! Уже 4 месяца моей жизни потеряны. Легко сказать! Положим, она больна, но зачем же вредить мне? Заставляя меня терять время, она губит мое будущее счастье. Каждый раз, когда я прошу ее что-нибудь объяснить мне, она отвечает мне

грубостями; я не хочу, чтобы со мной говорили таким образом; она какая-то бешеная, особенно когда она больна, она невыносима. Однако я продолжаю. Она сделала глаза ведьмы. «Делайте то, что я вам говорю, вы привыкли грубить всем и каждому, но я этого не потерплю, слышите?» – «Зачем вы кричите?» – сказала я ей таким спокойным тоном, что даже сама удивилась. В тех случаях, когда я слишком рассержена или даже просто раздражена, я делаюсь неестественно спокойна. Этот тон взбесил ее еще более – она ожидала вспышки.

«Вам 13 лет, как вы смеете!» – «Именно, m-lle, мне 13 лет, и я не хочу, чтобы со мной так говорили; прошу вас не кричать». Она вылетела, как бомба, крича и говоря разные неблагопристойности. Я на все отвечала спокойно, отчего она приходила в еще большее бешенство. «Это последний урок, что я вам даю!» – «О, тем лучше!» – сказала я.

В ту минуту, как она выходила из комнаты, я вздохнула так, как будто с меня сняли сто пудов. Я вышла довольная и отправилась к маме. Она бежала по коридору и опять начала кричать, – я продолжала свою тактику, делая вид, что ничего не слышу. Весь коридор мы прошли вместе, она – как фурия, я вполне невозмутимо. Я пошла к себе, а она просила позволения переговорить с мамой.

Сегодня ночью я видела ужасный сон. Мы были в незнакомом мне доме, как вдруг я и не знаю, кто еще, взглянули в окно. Я вижу солнце, которое увеличивается и покрывает почти полнеба, но оно не блестит и не греет. Потом оно делится, четверть исчезает, остальное продолжает делиться, меняя цвета. Мы в ужасе. Потом оно наполовину покрывается облаком, и все вскрикивают: «Солнце остановилось!» Как будто обыкновенно оно вертится! Несколько мгновений оно оставалось неподвижным и бледным, потом вся земля сделалась странной: не то что она качалась, я не могу выразить, что это было, так как этого совсем не существует среди того, что мы видим обыкновенно. Нет слов для выражения того, чего мы не понимаем. Потом оно опять начало вращаться, как два колеса, одно в другом, т. е. светлое солнце минутами покрывалось облаком, таким же круглым, как оно само. Волнение было общее; я спрашивала себя, не конец ли это света, и мне хотелось верить, что это только так, ненадолго. Мамы не было с нами, она приехала в чем-то вроде омнибуса и не казалась испуганной. Все было странно, и этот омнибус был не такой, как обыкновенные. Потом я стала пересматривать мои платья; мы уложили наши вещи в маленький саквояж. Но вдруг опять все началось сначала. Это был конец света, и я спрашивала себя, как это Бог не предупредил меня и неужели я достойна в живых присутствовать

при этом дне. Все были в страхе, мы с мамой сели в карету и поехали – не знаю куда.

Что означает этот сон? Послан ли он от Бога, чтобы предупредить о каком-нибудь важном событии, или это просто нервы?

Я так живо помню этот сон! Небо было то темное, со звездами – и тогда солнце не было видно, – то светлое, как в пять часов утра. Кончилось тем, что солнце совсем исчезло. Как же быть без солнца? Значит, это конец мира? Потом происходили странные вещи, я не знаю слов для выражения того, что я видела, потому что оно сверхъестественно.

M-lle Колиньон уезжает завтра. Во всяком случае это грустно. Ведь жаль даже собаку, с которой долго прожил и которую вдруг увозят. Каковы бы ни были наши отношения, какой-то червь гложет мне сердце.

Проезжая мимо виллы Ж., я взглянула на маленькую террасу направо. В прошлом году, отправляясь на скачки, я видела его сидящим там с ней. Он сидел в своей обычной благородной и непринужденной позе и ел пирожок. Я так хорошо помню все эти мелочи. Проезжая, мы смотрели на него, а он на нас. Он единственный, о котором мама говорит, что он ей очень нравится; я этому так рада. Она сказала: «Посмотри, Г. ест здесь пирожки, но и это у него вполне естественно, он точно у себя дома». Я еще не давала себе отчета в том волнении, которое я испытывала при виде его. Только теперь я вспоминаю и понимаю все малейшие подробности, касающиеся его, все слова, им сказанные.

Винсент Ван Гог. «Les Vessenots» в Овере. 1890

Когда Реми сказал мне на скачках, что он говорил с герцогом Г., у меня сердце забилось, хотя я и не понимала отчего. Потом, когда на тех же скачках Ж. сидела около нас и говорила о нем, я почти не слушала. О, что бы дала я теперь, чтобы услышать вновь ее слова! Потом, когда я была в английском магазине, он был там и насмешливо смотрел на меня, как бы говоря: «Какая смешная девочка, что она о себе воображает!» Он был прав: я была очень смешна в моем шелковом

платьице, да, я была очень смешна! Я не смотрела не него. Потом при каждой встрече мое сердце до боли ударяло в груди. Не знаю, испытывал ли это кто-нибудь; но я боялась, что мое сердце бьется так сильно, что это услышат другие. Прежде я думала, что сердце не что иное, как кусок мяса, теперь же вижу, что оно связано с душой.

Теперь мне понятно, когда говорят: «Мое сердце билось». Прежде, когда это говорили в театре, я не обращала внимания, теперь же я узнаю испытанные мною чувства.

Время мчится, как стрела. Утром я немного учусь музыке; до двух часов Аполлон Бельведерский, которого я срисовываю. Он имеет некоторое сходство с герцогом – особенно в те минуты, когда на него смотрят: выражение очень похоже. Та же манера держать голову и такой же нос.

Мой учитель музыки Manote был очень доволен мною сегодня утром. Я сыграла часть концерта Мендельсона без единой ошибки. Вчера были в русской церкви по случаю Троицы.

Церковь вся украшена цветами и зеленью. Читали молитвы, где священник молился о прощении грехов; он их все перечислил; потом он молился, стоя на коленях. Все, что он говорил, так подходило ко мне, что я как бы застыла, слушая и повторяя его слова.

Это второй раз, что я молилась так хорошо в церкви; первый раз это было в первый день нового года.

Общественная служба сделалась такой банальной; произносимые слова не имеют отношения к обыденной жизни и к чувствам большинства. Я хожу к обедне и не молюсь: молитвы и гимны не отвечают тому, что говорит мое сердце и моя душа; они даже мешают мне свободно молиться. А между тем молитвы, где священник молится за всех, где каждый находит что-нибудь относящееся к нему, проникают мне прямо в душу.

Наконец я нашла то, что искала, сама того не сознавая; жизнь – это Париж, Париж – это жизнь!.. Я мучилась, так как не знала, чего хочу. Теперь я прозрела, я знаю, чего хочу! Переселиться из Ниццы в Париж; иметь помещение,

обстановку, лошадей, как в Ницце; войти в общество через русского посланника – вот, вот чего я хочу! Как счастлив тот, кто знает, чего хочет. Но вот мысль, которая терзает меня: мне кажется, что я безобразна! Это ужасно!

Сердце – это кусок мяса, соединенный тоненькой ниточкой с мозгом, который, в свою очередь, получает новости от глаз и ушей. Можно сказать, что сердце говорит вам, потому что ниточка двигается и заставляет его биться сильнее обыкновенного и оно гонит кровь к лицу.

Мы были у фотографа Valery; там я видела портрет Ж. Как она хороша! Но через десять лет она будет стара, через 10 лет я буду взрослая; я была бы лучше, если бы я была больше. Я позировала восемь раз; фотограф сказал: «Если на этот раз удастся, я буду доволен». Мы уехали, не узнав результата.

Разразилась гроза; молнии были просто страшны; иногда они падали на землю, оставляя на небе серебристую черту, – тонкую, как римская свеча.

Я смотрю на Ниццу как на место изгнания. Однако я должна заняться распределением дней и часов для учителей. С понедельника я начну занятия, так ужасно прерванные m-lle Колиньон.

С зимой появится общество, а с обществом – веселье; тогда будет уже не Ницца, а маленький Париж. А скачки! Ницца имеет свою хорошую сторону. Тем не менее шесть или семь месяцев, которые надо здесь провести, кажутся мне целым морем, которое надо переплыть. Я не спускаю глаз с моего маяка. Я не надеюсь пристать, я не надеюсь видеть эту землю, но один вид ее даст мне силу и энергию дожить до будущего года, а затем… А затем? Право, я ничего не знаю! Но я надеюсь, я верю в Бога, в его безграничное милосердие – вот почему я не теряю бодрости. «Тот, кто живет под Его покровительством, найдет свое спокойствие в милосердии Всемогущего. Он осенит тебя Своими крылами, под их охраной ты будешь в безопасности, ты не будешь бояться ни слияния ночных созвездий, ни дневных несчастий…» Я не могу выразить, как я умилена и насколько сознаю милость Бога ко мне.

Мама лежала, а мы все были около нее, когда доктор, вернувшись от Патон, сказал, что умер Абрамович. Это ужасно, невероятно, изумительно! Я не могу поверить, что он умер! Нельзя умереть, будучи таким милым и привлекательным! Мне все кажется, что он вернется зимой, со своей знаменитой

шубой и со своим пледом. Это ужасно – смерть! Меня просто сердит его смерть! Такие люди, как С. и Ж., живут, а молодой человек, как Абрамович, умирает!

Все пришли в ужас, даже у Дины вырвалось какое-то восклицание. Я спешу написать Елене Говард. Все были в моей комнате, когда пришла эта печальная весть.

Я начала учиться рисовать. Я чувствую себя усталой, вялой, неспособной работать. Лето в Ницце меня убивает; никого нет, я готова плакать. Словом, я страдаю. Ведь живут только однажды. Провести лето в Ницце значит потерять полжизни. Я плачу, одна слеза упала на бумагу. О, если бы мама и другие знали, чего мне стоит здесь оставаться, они не заставляли бы меня жить в этой ужасной пустыне. Я не имею о нем никаких известий; уже так давно я не слышу даже его имени. Мне кажется, что он умер. Я живу, как в тумане; прошедшее я едва понимаю, настоящее мне кажется отвратительным. Я совершенно изменилась – голос охрип, я стала некрасива: прежде, просыпаясь, я была розовая, свежая – а теперь! Что же это такое меня гложет? Разве со мной что-нибудь случилось? Или случится?

Наняли виллу Bacchi; говоря по правде, жить в ней будет страшно неприятно: для каких-нибудь буржуа это годится, но не для нас!.. Я – аристократка и предпочитаю разорившегося дворянина богатому буржуа, я вижу больше прелести в старом шелке, в потерпевшей от времени позолоте, в сломанных колоннах и арабесках, чем в богатом, но безвкусном, бьющем в глаза убранстве. Самолюбие настоящего аристократа не удовлетворится блестящими, хорошо сшитыми сапогами и перчатками в обтяжку. Нет, одежда должна быть до известной степени небрежна… Но между благородной небрежностью и небрежностью бедности такая большая разница!

Мы оставляем это помещение; мне его жаль – не из-за его удобств и красоты, но потому, что это старый друг, к которому я привыкла. Как подумаешь, что я больше не увижу моей милой классной комнаты! Я здесь так много думала о нем. Этот стол, на который я теперь опираюсь и на котором я писала каждый день все, что было наиболее дорогого и священного в моей душе! Эти стены, по которым столько раз скользил мой взгляд, желая проникнуть через них и устремиться в бесконечную даль… В каждом цветке их обоев я видела его!

Сколько воображала я себе в этой комнате сцен, где он играл главную роль. Мне кажется, нет в мире вещи, от наиболее обыкновенной до самой фантастической, о которой я бы не передумала в этой комнатке.

Вечером Поль, Дина и я сидели вместе. Потом я осталась совсем одна. Луна освещала мою комнату, и я не зажигала свечи. Я вышла на террасу и услышала вдали звуки скрипки, гитары и флейты. Я быстро вернулась и села к окну, чтобы лучше слышать. Это было чудесное трио. Уже давно я не слышала музыки с таким удовольствием. В концерте более занимаешься осмотром публики, но в этот вечер, совсем одна, при лунном сиянии, я пожирала, если можно так выразиться, эту серенаду. Молодые люди Ниццы давали нам серенаду. Нельзя себе представить большей галантности. К несчастью, светские молодые люди не любят более этого развлечения, они предпочитают кафешантаны, между тем как музыка… может ли быть что-нибудь благороднее серенады, как в древней Испании? Честное слово, будь я на их месте – после лошадей, я проводила бы жизнь под окнами моей красавицы или, в конце концов, у ее ног.

Мне так хочется иметь лошадь; мама мне обещает, тетя тоже. Когда она была вечером у себя, я вошла к ней своей легкой и стремительной походкой и просила ее об этом; она мне серьезно обещала. Я ложусь совершенно счастливая. Все мне говорят, что я хорошенькая, но сама я, право, этому не верю. Мое перо не может писать, оно так и летает! Я миленькая, и только, иногда хорошенькая, но я счастлива!

У меня будет лошадь! Видано ли, чтобы у такой маленькой, как я, была своя лошадь! Я произведу фурор… А какие цвета жокею? Серый или ирис? Нет, зеленый и нежно-розовый. Лошадь специально для меня! Как я счастлива и довольна! Как не отлить бедным от моей слишком полной чаши. Мама дает мне деньги, половину я буду отдавать бедным.

Я прибрала мою комнату; она красивее без стола посередине; я поставила несколько безделушек, чернильницу, перо, два старых дорожных подсвечника, давно забытых в ящике. Вот как я устроилась.

Свет – это моя жизнь; он меня зовет, он меня манит, мне хочется бежать к нему. Я еще слишком молода для выездов; но я жду не дождусь этого времени – только если бы мама и тетя смогли стряхнуть свою лень… Свет не Ниццы, а свет

Петербурга, Лондона, Парижа. Только там я могла бы дышать, так как стеснения светской жизни для меня приятны.

Поль еще не имеет вкуса, он не понимает женской красоты. Я слышала, как он называл красивыми страшных уродов. Он еще думает, что для того, чтобы быть хорошо одетым, надо быть элегантным; чтобы нравиться, надо быть внимательным. Я должна сообщить ему манеры и вкус. Я еще не имею на него сильного влияния, но надеюсь его иметь со временем. Уже теперь, едва заметным образом, я сообщаю ему мои взгляды, даю ему уроки самой строгой нравственности, но в легкой форме; это занимательно и в то же время полезно. Если он женится, он должен любить свою жену, только свою жену, – словом, я надеюсь, если Бог позволит, вложить ему хорошие мысли.

Мы на пути в Вену. В общем отъезд был очень веселый. По обыкновению я была душой общества.

Начиная с Милана местность восхитительна, такая зеленая, такая плоская, взгляд простирается в бесконечность, и никакая гора не встает стеной перед глазами.

На австрийской границе, когда я поспешно одевалась, открылась дверь, и доктор окурил нас каким-то порошком против болезни (которой… не смею назвать ее). Я опять уснула до 11 часов. Я не смела вновь открыть глаза. Какая зелень, какие деревья, какие чистые дома, какие хорошенькие немки, как обработаны поля! Прелестно, восхитительно, чудесно! Я совсем не нечувствительна, как говорят, к красотам природы, напротив. Конечно, я не могу восхищаться острыми скалами, тощими оливами, мертвыми пейзажами, но меня приводят в восторг покрытые деревьями поля, прекрасно обработанные или же покрытые ковром зелени, с работающими женщинами, крестьянами. Я не могла оторваться от окна. Ехали быстро, все летело мимо, все убегало, и все было так прекрасно. Вот чем я любуюсь от всего сердца. В 8 часов я села, так как была утомлена. На одной станции маленькие немки кричали как раз над нашими ушами: Frisch Wasser! Frisch Wasser! У Дины даже голова разболелась.

Винсент Ван Гог. Голова проститутки. 1885

Я часто стараюсь понять, что это такое, что как будто стоит совсем передо мною и в то же время скрыто от меня – словом, истину. Все, что я думаю, чувствую, это только внешнее. Ну вот, я не знаю, но мне кажется, что ничего нет. Например, когда я вижу герцога, я не знаю, ненавижу я его или боготворю; я хочу войти в мою душу и не могу. Когда я решаю трудную задачу, я думаю, начинаю, мне кажется, что я достигла, но в ту минуту, когда я хочу все соединить, все исчезнет, все теряется, и моя мысль уходит так далеко, что я только удивляюсь и ничего не понимаю. Все, что я говорю, не есть еще моя сущность, мое существо; у меня их еще нет. Я вижу только внешним образом. Остаться или идти, иметь или не иметь – мне безразлично; мои печали, мои радости не существуют. Только тогда, когда я представляю себе маму или Г., любовь наполняет мою душу. И вот это последнее тоже мне кажется непонятным; когда я размышляю об этом, я как в тумане; я ничего не понимаю.

Есть люди, которые говорят, что муж и жена могут позволять себе развлечения и в то же время очень любить друг друга.

Это ложь; они не любят друг друга, так как, раз молодой человек и молодая девушка любят друг друга, разве они могут думать о других? Они любят друг друга и находят в этом совершенно достаточно развлечения. Один взгляд, одна мысль о другой женщине показывают, что уже не любят более ту, которую любили. Потому что, еще раз, если вы любите и вас любят, можете ли вы думать о любви к другой? Нет. Итак, к чему ревность и упреки? Можно поплакать, но надо утешиться, как о мертвом, сказав себе, что никто не может помочь. Раз сердце полно одной женщиной, в нем нет места другой; но как только оно начинает пустеть, другая входит в него – с той самой минуты, как вложила туда хоть кончик мизинца.

[Приписано на полях с пометкой – март, 1875 год:

Я рассуждала тогда довольно правильно, только видно, что я была еще дитя. Это слово: «любовь», повторяемое так часто… Бедняжка!.. Есть ошибки во французском языке, надо бы все исправить. Я думаю, что теперь я пишу лучше, но все еще не так, как бы я хотела. В какие-то руки попадет мой дневник? До сих

пор он может интересовать только меня и моих близких. Хотела бы я сделаться такой личностью, чтобы мой дневник был интересен для всех. Пока буду продолжать для себя, ведь будет очень приятно перечесть потом всю свою жизнь.]

Ницца. 29 августа Я взялась за распределение часов своих учебных занятий, завтра кончу. Девять часов работы ежедневно. О Боже мой! Дай мне силы и настойчивости в учении. У меня есть сила, но хотелось бы еще больше.

2 сентября Приходил учитель рисования; я ему дала список, чтобы он прислал мне учителей из лицея. Наконец-то я примусь за работу! Из-за путешествия и из-за m-lle Колиньон я потеряла четыре месяца. Это громадная потеря. Бинза обратился к директору, тот попросил для ответа день. Видя мои заметки, он спросил: «Сколько лет молодой девушке, которая хочет учиться всему этому и которая сумела составить такую программу?» А этот дурак Бинза сказал: «Пятнадцать лет». Я его страшно бранила, я раздосадована, я просто взбешена. Зачем говорить, что мне пятнадцать лет, – это ложь. Он извинялся, говоря, что по моим рассуждениям мне можно дать двадцать, что он думал сделать лучше, прибавляя мне два года, что он никак не думал, и проч. и проч. Я потребовала сегодня же, за обедом, чтобы он сказал директору мои настоящие года, я потребовала этого.

19 сентября Я все время сохраняю хорошее расположение духа; не следует мучиться сожалениями. Жизнь коротка, нужно смеяться, сколько можешь. Слез не избежать, они сами приходят. Есть горести, которых нельзя отвратить: это смерть и разлука, хотя даже последняя не лишена приятности, пока есть надежда на свидание. Но портить себе жизнь мелочами – никогда! Я не обращаю никакого внимания на мелочи, и, относясь с отвращением к мелким ежедневным неприятностям, я с улыбкой прохожу мимо них.

20 сентября Приходил С. и, не помню по какому поводу, сказал, что люди – перерожденные обезьяны. Это мальчуган с идеями дяди Николая. «В таком случае, – сказала я ему, – вы не верите в Бога?» – «Я могу верить лишь в то, что я понимаю», – возразил он.

О скверное животное! Все мальчишки, у которых начинают пробиваться усы, рассуждают таким образом. Это молокососы, воображающие, что женщины не могут ни размышлять, ни понимать их. Они смотрят на них как на каких-то говорящих кукол, которые сами не понимают того, что говорят. Они покровительственно позволяют им говорить. Я высказала ему все это, исключая только «скверное животное» и «молокососов». Он, наверное, прочел какую-нибудь книгу, не понял ее, и теперь цитирует из нее отдельные места. Он доказывает, что создан мир не Богом, ссылкой на то, что на полюсе найдены оледенелые скелеты и растения. Следовательно, они жили, а теперь их нет…

Я не говорю ничего против этого; но разве наша земля еще до сотворения человека не подвергалась разным изменениям? Нельзя же буквально принимать слова, что Бог создал мир в шесть дней. Элементы образовались веками, веками и веками. Но Бог есть; можно ли отрицать это, видя солнце, деревья и самих людей. Как не признать, что есть рука, которая направляет, отнимает и вознаграждает, и что это рука Бога?..

13 октября

Я отыскивала заданный урок, когда малютка Хедер, моя гувернантка, англичанка, сказала мне; «Знаете, герцог женится на герцогине М.». Я приблизила книгу к лицу, почувствовав, что покраснела, как огонь. Я чувствовала, как будто острый нож вонзился мне в грудь. Я начала дрожать так сильно, что едва держала книгу. Я боялась потерять сознание, но книга спасла меня. Чтобы успокоиться, я несколько минут делала вид, что ищу… Урок свой я отвечала прерывающимся от неровного дыхания голосом. Я собрала все свое мужество, как, бывало, бросаясь в воду с мостика купальни, и сказала себе, что надо преодолеть себя. Я попросила диктовать мне, чтобы хоть несколько времени иметь возможность не говорить.

С наслаждением ушла я наконец к роялю – попробовала играть, но пальцы были холодны и непослушны. Княгиня попросила меня научить ее играть в крокет. «С удовольствием», – отвечала я весело, но голос мой еще дрожал. Подали карету, я побежала одеваться. В зеленом платье, с золотистыми волосами, беленькая и розовая, я хороша, как ангел или как женщина. Мы едем.

Все время я думаю: он женится! Возможно ли? Я несчастна! Несчастна не по-прежнему – из-за обоев или мебели, но действительно несчастна!

Я не знаю, как сказать княгине, что он женится (потому что ведь когда-нибудь они все равно узнают это), и сознаю, что лучше сказать самой. Я выбираю момент, когда она садится на диван так, что свет падает сзади меня. Моего лица не видно. «Княгиня, знаете новость (мы говорим по-русски), герцог Г. женится». Наконец! Сказано… Я не покраснела, я спокойна, но что делается во мне, в глубине моей!!!

С того несчастного момента, как эта болтушка сообщила мне этот ужас, я все как будто запыхалась, точно я пробежала целую версту, то же ощущение: сердце бьется до боли.

Я играла на рояле с каким-то бешенством, но посреди фуги пальцы мои ослабели, и я должна была прислониться к спинке стула. Я начинала снова – та же история; в течение пяти минут я начинала и бросала… У меня в горле образуется что-то такое, что мешает дышать. Раз десять я вскакивала из-за фортепьяно; я выбегаю на балкон. О Господи, что за состояние!

Вечером я не могла писать. Я бросилась на колени и плакала. Вошла мама; чтобы она не увидала меня в этом виде, я притворилась, что иду посмотреть, не готов ли чай. И еще я должна брать латинский урок! Какая мука! Какая пытка! Я не могу ничего делать, не могу смириться! Нет в мире слов для выражения моих чувств! Но что меня волнует, бесит, убивает – это зависть; она меня раздирает, злит, сводит с ума! Если бы я могла ее высказать! Но ее надо скрыть и быть спокойной, и от этого я еще более жалка себе. Когда откупоривают шампанское, оно пенится и успокаивается, но когда лишь приоткрывают пробку, оно шипит, но не успокаивается. Нет, это сравнение неверно, я страдаю, я совсем разбита!!!…

Я забуду все это, конечно, со временем!.. Сказать, что мое горе вечно, было бы смешно; нет ничего вечного! Но дело в том, что теперь я не могу думать ни о чем другом. Он не женится – его женят. Это дело рук его матери.

[Приписка на полях 1880 года. Все это из-за господина, которого я видела раз десять на улице, которого я не знала и который даже не подозревает о моем

существовании.] О, я его ненавижу! Я не хочу, нет, я хочу видеть его с ней! Она в Бадене, в Бадене, который я так любила! Эти прогулки, эти прогулки, эти магазины, где я его видела! [1880 год. Все это я вновь видела, и все это ничего более не пробудило во мне…]

Сегодня я изменила в моей молитве все, что относилось к нему; я более не буду просить у Бога сделаться его женой!..

Не молиться об этом кажется мне невозможным, смертельным! Я плачу, как дура! Ну, ну, дитя мое, будем же более благоразумны!

Кончено! Ну, и прекрасно, – кончено! О, теперь я вижу, что не все делается так, как хочется!

Приготовимся к пытке при перемене молитвы. О, это самое ужасное на свете – это конец всего! Аминь!

18 октября Странное я создание: никто не страдает так, как я, а между тем я живу, пишу, пою. Как я изменилась с этого рокового дня, 13 октября. Страдания постоянно выражаются на лице моем. Его имя уже не составляет благотворного тепла; это огонь, это укор, пробуждение зависти и скорби. Я изведала величайшее несчастье, какое только может случиться с женщиной!.. Горькая насмешка!

Начинаю серьезно думать о своем голосе, я так хотела бы хорошо петь!.. Но к чему теперь?!..

Он был как бы светильником в моей душе, и этот светильник погас. Темно, мрачно, грустно, не знаешь, куда идти. Прежде в моих маленьких неприятностях я всегда имела точку опоры, свет, который указывал мне дорогу и давал мне силу, а теперь я ищу, смотрю, пробую и нахожу только пустоту и мрак. Ужасно, ужасно, когда нет ничего в глубине души…

Клод Моне. Зеленая волна. 1866

21 октября Мы возвращаемся, когда наши уже обедают, и вместо предобеденной закуски получаем маленький выговор от мамы. Милая семейная жизнь входит в свои права. Мама бранит Поля; дедушка перебивает маму, он вмешивается не в свое дело и подрывает в Поле уважение к маме. Поль уходит, ворча, как лакей. Я выхожу в коридор и прошу дедушку не вмешиваться в дела «администрации» и предоставить маме поступать по своему усмотрению. Грешно восстановлять детей против родителей, хотя бы по недостатку такта. Дедушка начинает кричать, это меня смешит; все эти бури всегда смешат меня, а затем возбуждают жалость ко всем этим несчастным, которые страдают только от безделья… Господи, если бы я была на десять лет старше! Если бы я была свободна! Но что делать, когда связан по рукам и по ногам всеми этими тетушками, дедушкой, уроками, наставницами, семьей?.. Целая свита – в тысячу трубачей!

Я говорю таким цветистым слогом, что становится просто глупо… Чем больше я говорю, тем больше хочу сказать. А между тем я не могу вполне выразить того, что чувствую! Я похожа на тех несчастных живописцев, которые замышляют картину не по силам себе…

28 октября Никогда не понравится мне человек ниже меня по положению; все банальные люди мне противны, раздражают меня. Человек бедный теряет половину своего достоинства, он кажется маленьким, жалким, имеет вид какой-то пешки. Тогда как человек богатый, независимый полон гордого покоя. Уверенность всегда имеет в себе нечто победоносное. И я люблю в Г. этот вид – уверенный, капризный, фатоватый и жестокий; в нем есть что-то нероновское.

8 ноября Никогда не нужно позволять заглядывать в свою душу, даже тем, кто нас любит. Нужно держаться середины и, уходя, оставлять по себе сожаление и иллюзии. Таким образом будешь казаться лучше, оставишь лучшее впечатление. Люди всегда жалеют о том, что прошло, и вас захотят снова увидеть; но не удовлетворяйте этого желания немедленно, заставьте страдать, однако не слишком. То, что стоит нам слишком много страдания, теряет свою цену, когда наконец приобретается после стольких затруднений, – кажется, что можно было

надеяться на лучшее. Или уж заставьте слишком страдать, более, чем слишком… Тогда вы царица.

Я думаю, что у меня лихорадка; я необыкновенно болтлива, особенно тогда, когда внутренне плачу. Никто не заподозрил бы этого. Я пою, смеюсь, шучу, и чем более я… несчастна, тем более весела. Сегодня я не в состоянии шевельнуть языком, я почти ничего не ела.

Только теперь, глядя на маму глазами посторонней, я открываю, что она очаровательна, прекрасна, как день, несмотря на усталость от всевозможных неприятностей и болезней. Когда она говорит, у нее такой мягкий голос, не звонкий, но сильный и мягкий; прекрасные манеры при полной естественности и простоте.

Я никогда в жизни не видела человека, менее думающего о себе, чем моя мать. Если бы только она побольше заботилась о своем туалете, все восхищались бы ею. Что ни говори, а туалет имеет большое значение. Она одевается в какие-то тряпки, я не знаю во что. Сегодня на ней хорошенькое платье, и, ей-богу, она очаровательна!

29 ноября

Я не могу успокоиться ни на одну минуту, я хотела бы куда-нибудь спрятаться, далеко-далеко, где никого нет. Может быть, тогда я пришла бы в себя.

Я чувствую ревность, любовь, зависть, обманутую надежду, оскорбленное самолюбие, все, что есть самого ужасного в этом мире!.. Но больше всего я чувствую утрату его! Я люблю его! Зачем не могу я выбросить из души моей все, что наполняет ее! Но я не понимаю, что в ней происходит, я знаю только, что я очень мучусь, что что-то гложет, душит меня и все, что я говорю, не высказывает сотой доли того, что я чувствую.

Лицо мое закрыто одной рукой, другой я держу плащ, который окутывает меня всю, даже с головой, чтобы быть в темноте, чтобы собрать свои мысли, которые разбегаются во все стороны и производят во мне какой-то хаос. Бедная голова!..

Одна вещь мучит меня, что через несколько лет я буду сама над собой смеяться и забуду его [PS. 1875. Прошло уже два года, и я не смеюсь над собой и не забыла!], все эти горести будут казаться мне ребячеством, аффектацией. Но нет, заклинаю тебя, не забывай! Когда ты будешь читать эти строки, возвратись мысленно к прошлому, представь себе, что тебе тринадцать лет, что ты в Ницце, что все это происходит в эту минуту! Думай, что все это еще живет!.. Ты поймешь!.. Ты будешь счастлива!..

1874

9 января

Возвращаясь с прогулки, я говорила себе, что не буду похожа на других, которые сравнительно серьезны и сдержанны. Я не понимала, каким образом приходит эта серьезность. Каким образом совершается этот переход от детства к положению молодой девушки? Я спрашивала себя: каким образом совершается это? Постепенно или вдруг? Что действительно заставляет созревать, развивает, изменяет – так это несчастье или любовь. Если бы я гналась за остроумием, я сказала бы, что это синоним, но я не скажу этого, потому что любовь – это самое лучшее, что только может быть в мире.

Я могу сравнить себя с водой, замерзшей в глубине и волнующейся только на самой поверхности, потому что ничто не интересует и не занимает меня в моей глубине.

25 июня Всю эту зиму я не могла взять ни одной ноты; я была в отчаянии, мне казалось, что я потеряла голос, и я молчала и краснела, когда мне говорили о нем; теперь он возвращается, мой голос, мое сокровище, мое богатство! Я сознаю это впервые, со слезами на глазах, и преклоняюсь перед Богом!.. Я ничего не говорила, но я была ужасно огорчена, я не смела говорить об этом и молилась Богу, и Он услышал меня!.. Какое счастье!.. Какое удовольствие хорошо петь! Сознаешь себя всемогущей, сознаешь себя царицей! Чувствуешь себя счастливой! Счастливой благодаря своему собственному достоинству. Это не та гордость, которую дает золото или титул. Становишься более чем женщиной, чувствуешь себя бессмертной. Отрываешься от земли и несешься на

небо! И все эти люди, которые следят за движением ваших губ, которые слушают ваше пение, как божественный голос, которые наэлектризованы, взволнованы, восхищены!.. Вы владеете всеми ими!.. После настоящего царства – это первое, чего следует искать. Господство красоты следует уже за этим, потому что оно не всемогуще по отношению ко всем; но пение поднимает человека над землей; он парит в облаках, подобно Венере, явившейся Энею!

Камиль Писсарро. Сидящая крестьянка. 1885

Ницца. 4 июля

Мы отправляемся в церковь Св. Петра – одни барышни. Я усердно молилась, ставши на колени и облокотившись подбородком на руку, очень белую и тонкую. Потом – вспомнив, где я, я прятала руку и в наказание себе старалась стать так, чтобы казаться некрасивой. Я в таком же настроении, как вчера; я надела тетино платье и шляпу.

В таком состоянии духа я не могу возвратиться домой и веду всю компанию в монастырь, который как раз напротив церкви и сообщается задней дверью с домом, где живут С. Мы входим с монастырь и вносим с собой столько шаловливости и веселья, что торжественный покой нарушен, и сестры – всегда тихие, все в белом – оживились и высовывают из дверей свои любопытные лица. Сквозь двойную решетку мы видим мать игуменью; она уже сорок лет в монастыре… Ужас! Оттуда мы идем в приемную пансионерок, и я заставляю танцевать сестру Терезу. Она хочет завербовать меня и хвалит мне монастырь, а я тоже хочу завербовать ее и хвалю ей мир.

Мы – по горло в католической религии. Что ж! Я понимаю страсть к церквам и монастырям.

6 июля

Ничто не пропадает в этом мире. Когда перестают любить одного, привязанность немедленно переносят на другого, даже не сознавая этого, а когда думают, что никого не любят, – это просто ошибка. Если даже не любишь человека, любишь собаку или мебель, и с такой же силой, только в иной форме. Если бы я любила, я хотела бы быть любимой так же сильно, как люблю сама; я не потерпела бы ничего, даже ни одного слова, сказанного кем-нибудь другим. Но такой любви нигде не встретишь. И я никогда не полюблю, потому что никто не полюбит меня так, как я умею любить.

14 июля

Разговор зашел о латинском языке, лицее, экзаменах; это возбуждает во мне ужасное желание учиться, и, когда приходит Брюне, я тотчас же забрасываю его вопросами относительно экзаменов. Он отвечает, что через год подготовки я буду в состоянии держать экзамен на аттестат зрелости. Мы еще поговорим об этом.

Я занимаюсь латынью с февраля этого года; теперь июль. В пять месяцев я сделала, по словам Брюне, столько, сколько проходят в лицее за три года. Это поразительно! Никогда не прощу я себе потери этого года, это всегда будет для меня ужасным горем; никогда не забуду я этого!..

Я в дурном настроении, ничего у меня не идет на лад, ничто мне не удается. Я буду наказана за мою гордость и за мою глупую надменность. Читайте, добрые люди, и научайтесь! Этот дневник – самое полезное и самое поучительное из всего, что было, есть и будет написано! Тут вся женщина, со всеми своими мыслями и надеждами, разочарованиями, со всеми своими скверными и хорошими сторонами, с горестями и радостями. Я еще не вполне женщина, но я буду ею. Можно будет проследить за мной с детства до самой смерти. А жизнь человека – вся жизнь, как она есть, без всякой маскировки и прикрас, – всегда великая и интересная вещь.

16 июля

Соответственно моей теории о перенесении любви вся сумма ее, которой я обладаю, сосредоточена в настоящий момент на Викторе, одной из моих собак. Я

завтракаю, а он напротив меня положил на стол свою славную большую морду. Будем любить собак, одних только собак! Люди и кошки – недостойные твари. А между тем собака – грязна, она жадными глазами следит за тем, как вы едите, она привязывается за то, что ее кормят. Однако я никогда не кормлю своих собак, а они любят меня. А Пратер, который покинул меня из ревности к Виктору и перешел к маме!.. А люди – разве они не ждут так же подачки, разве они не так же прожорливы и продажны?

17 июля

Говорят, что в России есть шайка негодяев, которые добиваются коммуны; это ужас что такое! Все отобрать и иметь все сообща. И их проклятая секта так распространена, что журналы делают отчаянные воззвания к обществу. Неужели отцы семейств не положат конца этому безобразию? Они хотят все погубить. Чтобы не было больше цивилизации, искусства, прекрасных и великих вещей: одни материальные средства к существованию! Работа также сообща, никто не будет иметь права выдвинуться благодаря какому-нибудь достоинству, выделяющему его из других. Хотят уничтожить университеты, высшее образование, чтобы сделать из России какую-то карикатуру Спарты!

Д., кажется, поражен всем, что я говорю, и удивляется, видя во мне такую лихорадочную жизнь. Мы говорим о нашей мебели; он весь так и рассыпался при описании моей комнаты. «Да это храм! Сказка из тысячи и одной ночи! – восклицает он. – Да сюда надо входить на коленях. Чудно, поразительно, ни с чем не сравнимо!» Он хочет разъяснить себе мой характер и спрашивает, гадаю ли я на маргаритках. «Да, очень часто, – чтобы знать, хорош ли будет обед!» – «Но как? Такая поэтическая, сказочная комната и вместе с тем гадание на маргаритке, как удался повару обед? О, нет! Это невероятно!» Его очень забавляет, что, по моему уверению, во мне два сердца. Я дурачилась, заставляя его восклицать и удивляться множеству контрастов. Я поднималась на небо и потом без всякого перехода спускалась на землю и так далее; я изображала из себя личность, которая хочет жить и забавляться и даже не подозревает возможности любить. А он удивляется, говорит, что боится меня, что это изумительно, сверхъестественно, ужасно!

Камиль Писсарро. Купальщица в лесу. 1885

Что я люблю больше всего – это когда нет никого, для кого хотелось бы существовать, т. е. уединение.

Волосы мои, завязанные узлом на манер прически Психеи, рыжее, чем когда-либо. Платье шерстяное, особенного белого цвета, очень грациозного и идущего ко мне; на шее кружевная косынка. Я похожа на один из портретов Первой империи; для дополнения картины нужно было бы только, чтобы я сидела под деревом с книгой в руках. Я люблю, уединившись перед зеркалом, любоваться своими руками, такими белыми, тонкими и только слегка розоватыми в середине.

Это, может быть, глупо так хвастаться, но люди, которые пишут, всегда описывают свою героиню, а я сама своя героиня. Да и было бы странно унижать себя из ложной скромности. Ведь унижают себя на словах только тогда, когда в сущности вполне уверены в своей высоте. А в моих писаниях всякий увидит, что я говорю только правду, и еще подумают, что я безобразна и глупа, – это было бы нелепо.

К счастью или несчастью, но я вижу в себе такое сокровище, которого никто не достоин, и на тех, кто смеет поднимать глаза на такое сокровище, я смотрю как на людей, едва достойных жалости. Я вижу в себе какое-то божество и не допускаю, чтобы такой человек, как Ж., возымел идею мне понравиться. Я едва-едва могла бы обращаться как с равным – с каким-нибудь королем. Я думаю, что это очень хорошо. Я смотрю на людей с такой высоты, что кажусь им весьма милой, потому что нельзя даже презирать людей, которые находятся так низко. Я смотрю на них, как заяц смотрел бы на мышей.

2 августа

После целого дня беготни по магазинам, портным и модисткам, прогулок и кокетства я надеваю пеньюар и читаю своего любезного друга Плутарха.

У меня гигантское воображение; я мечтаю о романических приключениях прошедших веков, не сомневаясь притом, что я самая романтическая из женщин и что это очень вредно! Я очень легко прощаю себе мое обожание к герцогу, потому что нахожу его достойным меня во всех отношениях.

17 августа

Я видела во сне Фронду; я только что поступила на службу к Анне Австрийской, она остерегалась меня, и я проводила ее среди взбунтовавшегося народа, восклицая: «Да здравствует королева!», а народ кричал вокруг меня: «Да здравствует королева!»

18 августа

Мы проводим день в восхищениях мною. Мама восхищается мной, княгиня Ж. восхищается мной; она постоянно говорит, что я похожа на маму или на ее дочь. Что же, это самый большой комплимент, какой только могут сделать! Ни о ком не думают лучше, чем о себе. Да и правда – я красива. В Венеции, в большой зале герцогского палаццо, живопись на потолке Павла Веронезе изображает Венеру в образе высокой, свежей, белокурой женщины; я напоминаю ее. Мои фотографические портреты никогда не передадут меня, в них недостает красок, а моя свежесть, моя бесподобная белизна составляет мою главную красоту. Но стоит только привести меня в другое настроение, раздосадовать чем-нибудь, стоит мне устать – прощай моя красота! Нельзя представить себе ничего более непостоянного. Но когда я счастлива, спокойна – тогда только я очаровательна.

Когда я утомлена или рассержена, я вовсе не красива, даже скорее безобразна. Я расцветаю от счастья, как цветок от солнца. Меня еще увидят, еще есть время – слава Богу! Я только начинаю делаться тем, чем буду в двадцать лет…

Я – как Агар в пустыне; я жду и жажду живой души.

Париж. 24 августа

Я надеюсь вступить в свет, в свет, который я призываю к себе всеми фибрами души, стоя на коленях, потому что в нем моя жизнь, мое счастье. Я уже начинаю жить и стараюсь приводить в исполнение мои мечты – сделаться знаменитой: меня знают уже довольно многие. Я смотрюсь в зеркало и вижу, что я хорошенькая. Я – хорошенькая, чего мне еще нужно? Разве я не могу сделать все, обладая этим? Боже мой, дав мне эту безделицу красоты (я говорю безделицу – из скромности), Ты дал мне уже слишком много! Я сознаю себя красивой, и мне кажется, что все удастся мне. Все улыбается мне, и я чувствую себя счастливой, счастливой, счастливой!

Шум Парижа, этот громадный, как город, отель, со всем этим людом, вечно ходящим, говорящим, читающим, курящим, глазеющим, – голова идет кругом! Я люблю Париж, и сердце мое бьется. Я хочу жить скорее, скорее, скорее… («Я никогда не видал такой лихорадочной жизни», – сказал Д., глядя на меня.) Это правда, я боюсь только, что это желание жить на всех парах есть признак недолговечности. Кто знает? Ну вот, мне становится грустно… Нет, не хочу грустить…

Поль Сезанн. Натюрморт с яблоками. 1893–1894

5 сентября

В Булонском лесу встречается столько жителей Ниццы, что на один момент мне показалось, что я в Ницце. Ницца так прекрасна в сентябре… Я вспоминаю о прошлом годе – мои утренние прогулки с моими собаками. Небо такое ясное, серебристое море… Здесь нет ни утра, ни вечера. Утром – везде выметают, вечером – эти бесчисленные фонари просто раздражают меня. Здесь я теряюсь, не умею различить утренней зари от вечерней. А там так хорошо! Чувствуешь себя как в гнездышке, окруженном горами – не слишком высокими и не бесплодными. С трех сторон – точно грациозная драпировка, а спереди – громадное окно, бесконечный горизонт, вечно тот же и вечно новый. Я люблю Ниццу, Ницца – моя родина, в Ницце я выросла, Ницца дала мне здоровье, свежие краски. Там так хорошо! Просыпаешься с зарей и видишь, как восходит солнце, там, налево, из-за гор, которые резко выделяются на голубом

серебристом небе, туманном и кротком, – и задыхаешься от радости! К полудню солнце против меня. Становится жарко, но воздух не раскален, тихий береговой ветерок всегда приносит прохладу. Все, кажется, заснуло. На бульваре ни души, разве какие-нибудь два-три жителя Ниццы, задремавшие на скамейке. Тогда я дышу свободно и наслаждаюсь. Вечером опять небо, море, горы. Но вечером все кажется черным или темно-синим. А когда светит луна, по морю бежит точно громадная дорога или рыба с алмазной чешуей; я остаюсь в своей комнате у окна, с зеркалом и двумя свечами, – спокойно, одна, ничего мне не нужно, и я благодарю Бога! О! Нет! Никогда не поймут того, что я хочу высказать. Не поймут, потому что не испытали этого. Нет, это все не то; каждый раз, когда я хочу выразить, что чувствую, я прихожу в отчаяние! Это точно кошмар, когда не хватит сил вскрикнуть!

Впрочем, никакое описание не может дать понятия о действительной жизни. Как передать эту свежесть, это благоухание воспоминания? Можно выдумать то или другое, можно создать, но нельзя воспроизвести… Как бы живо ни чувствовал при описании, в результате получаются самые обыкновенные слова: лес, гора, небо, луна; все говорят то же самое. Да и к чему все это? Какое до этого дело другим? Другие никогда не поймут, потому что это они, а не я; я одна понимаю, потому что я вспоминаю. И потом люди не стоят того, чтобы мы старались передать им все это. Всякий чувствует, как я, всякий за себя. Я хотела бы достигнуть того, чтобы другие чувствовали то же, что я, за меня; но это невозможно – для этого нужно, чтобы они были мной.

Ах, дитя мое, оставь все это в покое, ты забираешься в излишние тонкости. Ты опять совсем обезумеешь, как тогда с твоей «сущностью»… Ведь есть столько умных людей!.. Ах, да нет! Я хотела сказать, что это их дело – разобраться в этом… Нет, нет! Они могут создать что-нибудь, но разобрать – нет, нет, сто тысяч раз нет! Во всем этом ясно только одно: что на меня нашла тоска по Ницце.

6 сентября

При всем моем изнеможении и ежеминутной ужасной тоске я не проклинаю жизни; напротив, я люблю ее и нахожу ее прекрасной. Поверят ли мне? Я нахожу все прекрасным и приятным, даже слезы, даже страдание. Я люблю плакать, люблю приходить в отчаяние, люблю быть огорченной и печальной. Я смотрю на все это как на развлечение – и люблю жизнь, несмотря ни на что. Я хочу жить.

Было бы жестоко заставить меня умереть, когда я так нетребовательна. Я плачу, я жалуюсь, и в то же время мне это нравится… Нет, не это… Я не знаю, как выразить… Ну, словом, все в жизни мне нравится, все я нахожу приятным. И желая счастья, я нахожу счастье даже в несчастье. То есть, собственно, это не я нахожу: тело мое плачет и кричит, но что-то, находящееся во мне, но стоящее выше меня, радуется всему. Не то чтобы я предпочитала слезы радости, нет, но я далека от того, чтобы проклинать жизнь в минуты отчаяния, я благословляю ее и говорю: я несчастна, я жалуюсь, но я нахожу самую жизнь такой прекрасной, что все кажется мне прекрасным и счастливым, и я хочу жить! Вероятно, этот «некто», стоящий выше меня и радовавшийся даже слезам, покинул меня сегодня, потому что я чувствую себя очень несчастной.

Я еще никому не сделала зла, а меня уже оскорбили, унизили, оклеветали! Как могу я любить людей! Я ненавижу их, а Бог запрещает ненависть. Но Бог покинул меня. Бог испытывает меня. Но если Он испытывает меня Он должен прекратить испытание. Он видит, как я принимаю это. Он видит, что я не скрываю скорби.

Одна вещь огорчает меня больше всего. Это… Не то чтобы разрушение всех моих планов, нет, но сожаление о последствиях, оставляемых неприятностями. И не то чтобы это было сожаление за себя, но… Я не знаю, поймут ли меня: это сожаление ощущается потому же, почему тяжело видеть, как накопляются пятна на белом платье, которое хотелось бы сохранить чистым.

При каждом маленьком огорчении сердце мое сжимается – не за меня, но от сожаления, потому что каждое огорчение – точно капля чернил, падающая в стакан с водой: оно никогда не изглаживается, а прибавляется ко всем предшествующим, делает стакан чистой воды – серой, черной, грязной. Сколько потом ни прибавляй воды, она все-таки останется грязной.

Сердце мое сжимается потому, что это каждый раз неизгладимое пятно на моей жизни, на моей душе. Не правда ли? Всегда ощущаешь глубокую грусть при виде непоправимой вещи, как бы незначительна она ни была.

Поль Сезанн. Дома в Провансе. 1883

12 сентября

Вечером мы уже во Флоренции. Город кажется мне посредственным, но оживление большое. На всех углах продают арбузы целыми грудами. Эти арбузы, красные и свежие, очень соблазняют меня. Окно наше выходит на площадь и на Арно. Я велю принести себе программу празднеств: первый день уже был сегодня. Я думала, что мой двоюродный братец Виктор-Эммануил сумеет воспользоваться таким прекрасным случаем, представляющимся ему, – столетие Микеланджело Буонарроти! В твое царствование! И ты не созываешь всех монархов, не задаешь им празднеств, каких бы еще никто ни видывал! Не поднимаешь никакого шума!!!

О король, твой сын, твой внук и твои правнуки будут царствовать и не будут иметь этого случая, о бесчувственная туша! Король без честолюбия, без самолюбия! Предполагается много различных собраний, концертов, иллюминация, бал в казино, прежнем дворце Боргезе… Но ни одного государя! Ничего, как я люблю! Ничего, как мне хотелось бы!..

13 сентября

Ну, я несколько собираюсь с мыслями. Чем больше у меня есть чего рассказать, тем меньше я пишу… Это потому, что я нетерпелива, слишком возбуждена, когда мне надо много сказать.

Мы объезжаем город в ландо, в полном туалете. Ах, как я люблю эти мрачные дома, эти портики, эти колонны, эту массивную, величественную архитектуру! Стыдитесь, архитекторы французские, русские, английские, спрячьтесь со стыда под землю! Обратитесь, провалитесь сквозь землю, парижские дворцы! Не Лувр – он безукоризнен, но все остальное. Никогда больше не достигнуть этого чудного великолепия итальянцев. Я гляжу во все глаза на громадные камни палаццо Питти! Город грязен, чуть не в лохмотьях, но сколько в нем красоты! О, страна Данте, Медичи, Савонаролы! Как ты полна чудных воспоминаний для тех, кто думает, чувствует, понимает! Сколько дивных творений! Сколько развалин! О, негодный король! О, если бы я была королевой!..

Я обожаю живопись, скульптуру, искусство, где бы оно ни проявлялось. Я могла бы проводить целые дни в этих галереях, но тетя нездорова, едва может ходить со мной, и я жертвую этим. Впрочем, жизнь для меня еще впереди, еще будет время увидеть.

В палаццо Питти я не нахожу ни одного костюма, достойного подражания, но какая красота, какая живопись!..

Признаться ли? Я не смею… Все будут кричать; «Караул! Караул! Ну-ка, признавайся!..» Дело в том, что «Сидящая Богородица» Рафаэля мне не нравится. Лицо Богородицы бледно, цвет лица какой-то неестественный, выражение – подходящее скорее какой-нибудь горничной, чем Святой Деве, матери Христа… Но зато там есть «Магдалина» Тициана, которая привела меня в восторг. Только… Всегда есть какое-нибудь «только» – у нее полные, слишком пухлые руки: прекрасные руки для пятидесятилетней женщины. Есть также некоторые вещи Рубенса, Ван-Дейка, очаровательные. «Ложь» Сальвадора Розы – очень хороша, очень правдива. Я сужу не в качестве знатока; мне нравится то, что всего правдивее, что ближе к природе. Да и не состоит ли в этом подражании природе самая цель живописи?

Я очень люблю полную и свежую фигуру жены Павла Веронезе, им написанную. Я люблю этот жанр его живописи. Я обожаю Тициана, Ван-Дейка; но этот несчастный Рафаэль! Только не узнал бы кто-нибудь, что я пишу! Меня приняли бы за дуру. Я не критикую Рафаэля, я не понимаю его; со временем я, конечно, пойму его красоты. Однако портрет папы Льва (не помню, которого – X, кажется) просто удивителен.

«Святая Дева с младенцем Христом» Мурильо также привлекла мое внимание: это – свежо, естественно.

К моему великому удовольствию, оказалось, что картинная галерея меньше, чем я думала. Это убийственно, когда галереи бесконечны, как лабиринт, и притом иногда еще более ужасные, чем на Крите.

Я провела во дворце два часа, не садясь ни на минуту, и не устала!.. Вещи, которые я люблю, не утомляют меня. Когда приходится смотреть картины и

особенно статуи, я точно из железа. А если бы меня заставили ходить по магазинам Лувр или «Bon Marche», даже Ворта, да я бы через три четверти часа расплакалась.

Не одно путешествие еще не доставляло мне такого удовлетворения, как это: наконец-то я нахожу вещи, достойные осмотра. Я обожаю эти мрачные дворцы Строцци. Я обожаю эти громадные двери, эти великолепные дворы, галереи, колонны. Это так величественно, мощно, прекрасно!.. Ах, мир вырождается; хотелось бы сровнять с землей современные постройки, сравнивая их с этими гигантскими камнями, нагроможденными друг на друга и высящимися до небес. Приходится проходить под мостиками, соединяющими дворцы на страшной, невероятной высоте…

Ну, дитя мое, умерь свои выражения, что же скажешь ты после этого о Риме?

1875–1876

1875

Ницца. 30 сентября

Я спускаюсь в свою лабораторию, и – о ужас! – все мои склянки, баллоны, все мои соли, все мои кристаллы, все мои кислоты, все мои трубочки откупорены и свалены в грязный ящик в ужаснейшем беспорядке. Я прихожу в такую ярость, что сажусь на пол и начинаю окончательно разбивать вещи, попорченные только наполовину. То, что уцелело, я не трогаю – я никогда не забываюсь.

– А! Вы думали, что Мари уехала, так уж она и умерла! Можно все перебить, все разбросать! – кричала я, разбивая склянки.

Тетя сначала молчала, потом сказала:

– Что это? Разве это барышня? Это какое-то страшилище, ужас что такое!

И среди моей злобы я не могу удержаться от улыбки. Потому что, в сущности, все это дело внешнее, не затрагивающее глубины моей души, а в эту минуту, к счастью, я заглядываю в эту глубину и совершенно успокаиваюсь и смотрю на все это так, как будто бы это касалось не меня, а кого-нибудь другого.

1 октября

Бог не исполняет того, о чем я молюсь, и я покоряюсь (нет, вовсе нет, я жду). Ах, как это скучно – ждать и не быть в состоянии сделать что бы то ни было, как только ждать. Все эти неприятности и затруднения окружающей жизни губят женщину.

«Если бы человек, тотчас же по рождении, в своих первых движениях не встречал затруднений в своем соприкосновении с окружающей средой, он не мог бы в конце концов отличить себя от внешнего мира, считал бы, что этот мир есть часть его самого, его тела; и по мере своего соприкосновения со всем – жестом или шагами – он только убеждался бы, что все находится от него в зависимости и есть просто протяжение его личного существа, и сказал бы: Вселенная – это я».

Вы, конечно, вполне вправе утверждать, что это слишком хорошо сказано, чтобы принадлежать мне; да я и не подумаю приписывать это себе. Эго сказал философ, а я только повторяю. Так вот, так я мечтала жить, но соприкосновение с окружающими вещами наделало мне синяков, и это ужасно сердит меня.

Поль Сезанн. Мадам Сезанн в красном платье. 1888–1890

Беспорядок в доме очень огорчает меня; все эти мелочи в службе, комнаты без мебели, этот вид какого-то запустения, нищенства надрывает мне сердце! Господи, сжалься надо мной, помоги мне устроить все это. Я одна. Для тети все

равно, хоть дом обрушься, хоть сад весь высохни!.. Не говорю уж о мелочах… А я… все эти мелочи недосмотра раздражают меня, портят мне характер. Когда все кругом меня прекрасно, удобно и богато, я добра, весела, и все хорошо. Но это разорение и запустение заставляют меня от всего приходить в отчаяние, везде видеть эту пустоту. Ласточка вьет гнездо свое, лев устраивает свою нору, как же это человек, стоящий так высоко сравнительно с животными, не хочет ничего делать?

Если я говорю: «Стоящий так высоко», это вовсе не означает, что я его уважаю, нет. Я глубоко презираю род людской и по убеждению. Я не жду от него ничего хорошего. Я не нахожу того, чего ищу в нем, что надеюсь встретить – доброй, совершенной души. Добрые – глупы, умные – или хитры, или слишком заняты своим умом, чтобы быть добрыми. И потом – всякое создание, в сущности, эгоистично. А поищите-ка доброты у эгоиста. Выгода, хитрость, интрига, зависть!! Блаженны те, у кого есть честолюбие – это благородная страсть: из самолюбия и честолюбия стараешься быть добрым перед другими, хоть на минуту, и это все-таки лучше, чем не быть добрым никогда.

Ну-с, дочь моя, исчерпали вы свою мудрость? Для настоящего времени – да. По крайней мере, так у меня будет меньше разочарований!.. Никакая подлость не огорчит меня, никакая низость не удивит меня. Конечно, настанет день, когда мне покажется, что я нашла человека, но в этот день я обману себя безобразнейшим образом. Я отлично предвижу этот день. Я буду ослеплена, я говорю это теперь, когда вижу так ясно… Но тогда зачем жить, если все в этом мире низость и злодейство?.. Зачем? Потому что я понимаю, что это так. Потому что, что ни говори, жизнь прекрасна. И потому что, не слишком углубляясь, можно жить счастливо. Не рассчитывать ни на дружбу, ни на благородство, ни на верность, ни на честность; смело подняться выше человеческого ничтожества и занять положение между людьми и Богом. Брать от жизни все, что можно, не делать зла своим ближним, не упускать ни одной минуты удовольствия, обставить свою жизнь удобно, блестяще и великолепно; главное – подняться как можно выше над другими; быть могущественным! Да, могущественным! Могущественным! Во что бы то ни стало!.. Тогда тебя боятся и уважают. Тогда чувствуешь себя сильным, и это верх человеческого блаженства, потому что тогда люди обузданы – или своей подлостью, или чем-то другим – и не кусают тебя.

Не странно ли видеть меня рассуждающей таким образом? Да, но эти рассуждения в устах такого щенка, как я, только лишнее доказательство, чего

стоит мир!.. Он должен быть хорошо пропитан грязью и злобой, чтобы в такой короткий срок до такой степени озлобить меня. Мне едва пятнадцать лет.

И это доказывает явное милосердие Божие, потому что, когда я вполне постигну все безобразия мира, я увижу, что только и есть Он, там, наверху, в небе, я – внизу, на земле. Это убеждение даст мне величайшую силу. Если я коснусь окружающей пошлости, то только для того, чтобы подняться, и я буду счастлива, когда не буду принимать к сердцу все эти мелочи, вокруг которых люди вертятся, борются, грызутся, рвут друг друга на части, как голодные собаки.

Но все это слова!.. Куда же я поднимусь? И как? О! Пустые бредни!..

Я все поднимаюсь, все поднимаюсь мысленно, душа моя расширяется, я чувствую себя способной на громадные вещи, но к чему все это служит? Я живу в темном углу, и никто не знает меня!

И вот я уже начинаю сожалеть своих ближних! Да я и никогда не пренебрегала ими, напротив, я ищу их – без них нет ничего в этом мире. Только – только я ценю их на столько, на сколько они стоят, и хочу этим воспользоваться.

Толпа – в ней все. Что мне несколько выдающихся существ, мне нужны все, мне нужно блеска, шума.

Когда я думаю, что… Возвратимся к этому вечному, скучному, но необходимому слову: подождем!.. О, если бы кто-нибудь знал, чего мне стоит ждать!

Но я люблю жизнь, люблю ее горести и радости. Люблю Бога и весь Его мир, со всеми его дурными сторонами, несмотря на все эти дурные стороны и, может быть, даже вследствие их.

Почему это никогда нельзя говорить без преувеличений? Мои черные размышления были бы справедливы, если бы были несколько спокойнее; их неистовая форма лишает их естественности.

Есть черствые души, но есть и прекрасные поступки, и честные души, но все это порывами и так редко, что нельзя смешивать их с остальным миром.

Скажут, пожалуй, что я говорю все это, потому что у меня какие-нибудь неприятности; нет, у меня только мои обычные неприятности и ничего особенного. Не ищите ничего такого, что не находилось бы в этом журнале, я добросовестна и никогда не прохожу молчанием ни какой-нибудь мысли, ни сомнения. Я воспроизвожу себя так точно, как только позволяет мне мой бедный ум. А если мне не верят, если ищут чего-нибудь сверх того или под тем, что я говорю, тем хуже! Ничего не увидят, потому что ничего и нет.

Поль Сезанн. Арлекин. 1888–1890

9 октября

Если бы я родилась принцессой Бурбонской, как madam de Longueville, если бы мне прислуживали графы, если бы родственниками и друзьями моими были короли, если бы с самого своего рождения я только и встречала, что преклоненные головы заискивающих придворных, если бы я ходила только по коврам, украшенным гербами, и спала под королевскими балдахинами, если бы у меня был целый ряд предков – один славнее другого; если бы у меня было все это, я не могла бы быть ни более гордой, ни более надменной, чем теперь. О Боже мой, как я благодарю Тебя! Эти мысли, которые Ты посылаешь мне, помогут мне устоять на верном пути и не дозволят мне ни на минуту упустить из глаз блестящую звезду, к которой я иду.

Мне кажется, что в эту минуту я вовсе не иду. Но я пойду – из-за таких пустяков не говорят такой прекрасной фразы…

О, как я устала от этой неизвестности. Я чахну от этого бездействия, я покрываюсь плесенью в этих потемках! Солнца, солнца, солнца!..

Но с какой стороны придет оно? Когда? Где? Как? Я ничего не хочу знать, только бы оно пришло!

В момент моей мании величия все предметы кажутся мне недостойными прикосновения, перо мое отказывается писать обыденные имена. Я смотрю со сверхъестественным пренебрежением на все, что окружает меня, а потом говорю себе со вздохом: ну, подбодрись! Это время только переход, ведущий меня куда-то, где мне будет хорошо.

15 октября

Тетя пошла купить фруктов около церкви Св. Репарата, я была с ней.

Женщины тотчас же окружили меня. Я спела вполголоса Rossiqno chevola. Это привело их в восторг, и даже самые старые принялись плясать; я сказала, что могла, на ниццарском наречии. Словом, народное торжество.

Торговка яблоками сделала мне реверанс, восклицая: «Che bella reqina!»

Я не знаю, почему это простые люди любят меня, я и сама чувствую себя хорошо среди них; я воображаю себя царицей, я говорю с ними с благоволением и ухожу после маленькой овации, как сегодня. Если бы я была королевой, народ обожал бы меня.

27 декабря

Я видела странный сон. Я летала высоко-высоко над землей. В руке я держала лиру, струны которой ежеминутно обрывались, и я не могла извлечь из нее ни одного аккорда. Я поднималась все выше и выше, передо мной открывались громадные горизонты – какие-то облака: голубые, желтые, красные, смешанные, золотистые, серебристые, разорванные, странные; потом все становилось серым, потом снова ослепительно сверкало; и я все поднималась, пока не достигла наконец такой высоты, что дух захватывало. Но я не боялась. Облака казались внизу застывшими, сероватыми и блестящими, как свинец. Все стало как-то неопределенно; я держала в руке свою лиру, со слабо натянутыми струнами, а вдали, под моими ногами, виднелся красноватый шар – земля.

Вся моя жизнь в этом журнале; мои наиболее спокойные минуты – когда я пишу. Это, может быть, мои единственные спокойные минуты.

Если я умру скоро, я все сожгу, но если я умру, дожив до старости, все прочтут этот журнал. Я думаю, что еще не существует такой фотографии, если можно так выразиться, целой жизни женщины, всех ее мыслей, всего, всего. Это будет интересно. Если я умру молодой, скоро, и – по несчастью – не успею сжечь этого журнала, скажут про меня: «Бедное дитя! Она любила, и отсюда все ее отчаяние!» Пусть говорят, я не буду доказывать противного, потому что, чем больше я буду говорить, тем меньше мне поверят.

Может ли быть что-нибудь более плоское, более подлое, более презренное, чем род людской? Ничего! Ничего! Род человеческий был создан к погибели… Ну да, я хотела сказать – к погибели рода человеческого.

Уже три часа утра, а, как говорит тетя, я ничего не выиграю, проводя бессонные ночи. О, какое нетерпение. Мое время придет, я охотно верю этому, а что-то все шепчет мне, что оно никогда не придет, что всю мою жизнь я будут только ждать… вечно ждать. Все ждать… ждать!

Я так сержусь; я не плакала, не ложилась на пол. Я спокойна. Это плохой знак, уж лучше, когда приходишь в бешенство…

28 декабря

Мне холодно, губы мои горят. Я отлично знаю, что это недостойно сильного ума – так предаваться мелочным огорчениям, грызть себе пальцы из-за пренебрежения такого города, как Ницца[3 - Намек на какую-то сплетню, пущенную в Ницце относительно семейства Башкирцевых. (Прим. «Сев. Вестника».)]; но покачать головой, презрительно улыбнуться и больше не думать об этом – это было бы слишком. Плакать и беситься доставляет мне больше удовольствия. Я дошла до такого нервного возбуждения, что любой отрывок музыкальной пьесы, если только это не галоп, заставляет меня плакать. В каждой опере я усматриваю себя, самые обыкновенные слова поражают меня прямо в сердце.

Подобное состояние делало бы честь женщине в тридцать лет. Но в пятнадцать лет говорить о нервах, плакать, как дура, от каждой глупой сентиментальной фразы!

Только что я опять упала на колени, рыдая и умоляя Бога, протянув руки и устремив глаза вперед, как будто бы Бог был здесь, в моей комнате.

По-видимому, Бог и не слышит меня, а между тем я кричу довольно громко. Кажется, я говорю дерзости Богу.

В эту минуту я в таком отчаянии, чувствую себя такой несчастной, что ничего не желаю! Если бы все враждебное общество Ниццы пришло и стало передо мной на колени, я бы не двинулась!

Да, да, я бы дала ему пинка ногою!.. Потому что, в самом деле, что мы ему сделали?

Боже мой, неужели вся моя жизнь будет такова?

Я хотела бы обладать талантом всех авторов, вместе взятых, чтобы выразить всю бездну моего отчаяния, моего оскорбленного самолюбия, всех моих неудовлетворенных желаний.

Стоит только мне пожелать, чтобы уж ничто не исполнилось!..

Найду ли я какую-нибудь собачонку на улице, голодную и избитую уличными мальчишками, какую-нибудь лошадь, которая с утра до вечера возит невероятные тяжести, какого-нибудь осла на мельнице, какую-нибудь церковную крысу, учителя математики без уроков, расстриженного священника, какого-нибудь дьявола, достаточно раздавленного, жалкого, грустного, униженного, забитого, чтобы сравнить его с собой?

Что ужасно во мне, так это то, что пережитые унижения не скользят по моему сердцу, но оставляют в нем свой мерзкий след!

Никогда вы не поймете моего положения, никогда вы не составите понятия о моем существовании. Вы засмеетесь… Смейтесь, смейтесь! Но может быть,

найдется хоть кто-нибудь, кто будет плакать. Боже мой, сжалься надо мной, услышь мой голос; клянусь Тебе, что я верую в Тебя.

Такая жизнь, как моя, с таким характером, как мой характер!!!

1876

Рим. 1 января

Ницца, Ницца, есть ли в мире другой такой чудный город после Парижа? Париж и Ницца, Ницца и Париж! Франция, одна только Франция! Жить можно только во Франции…

Дело идет об ученье, потому что ведь для этого я и приехала в Рим. Рим вовсе не производит на меня впечатления Рима.

Да неужели это Рим? Может быть, я ошиблась? Возможно ли жить где-нибудь, кроме Ниццы? Объехать различные города, осмотреть их – да, но поселиться здесь!..

Впрочем, я привыкну.

Здесь я – точно какое-нибудь бедное пересаженное растение. Я смотрю в окно и вместо Средиземного моря вижу какие-то грязные дома; хочу посмотреть в другое окно и вместо замка вижу коридор гостиницы. Вместо часов в башне бьют стенные часы гостиницы…

Это гадко – заводить привычки и ненавидеть перемену.

5 января

Я видела фасад собора Святого Петра. Он чудно хорош; это привело в восторг мое сердце – особенно левая колоннада, потому что ни один дом ее не

загораживает, и эти колонны на фоне неба производят удивительное впечатление. Кажется, что переносишься в Древнюю Грецию.

Мост и крепость Св. Ангела тоже в моем вкусе.

Это величественно, прекрасно.

А Колизей?

Но что мне сказать о нем после Байрона?..

10 января

Наконец мы идем в Ватикан. Я еще никогда не видела вблизи «сильных мира сего» и не имела никакого понятия, как к ним приступают, тем не менее мое чутье говорило мне, что мы поступали не так, как было нужно. Подумайте, ведь кардинал Антонелли – папа на деле, если не по имени, – пружина, заставлявшая двигаться всю папскую машину…

Винсент Ван Гог. Мадам Августина Рулен качает колыбель. (Колыбельная). 1889

Мы подходим с очаровательнейшим доверием под правую колоннаду, я проталкиваюсь, не без труда, сквозь окружающую нас толпу проводников и внизу, у лестницы, обращаюсь к первому попавшемуся солдату и спрашиваю у него его преосвященство. Солдат этот отсылает меня к начальнику, который дает мне довольно смешно одетого солдата, и он ведет нас через четыре огромных лестницы из разноцветного мрамора, и мы выходим наконец на четырехугольный двор, который, вследствие неожиданности, сильно поражает меня. Я не предполагала ничего подобного внутри какого бы то ни было дворца, хотя и знала по описаниям, что такое Ватикан.

После того как я видела эту громаду, я не хотела бы уничтожения пап. Они велики уже тем, что создали нечто столь величественное, и достойны уважения за то, что употребили свою жизнь, могущество и золото, чтобы оставить потомству этого могучего колосса, называемого Ватикан.

В этом дворе мы находим обыкновенных солдат и солдата и двух сторожей, одетых как карточные валеты. Я еще раз спрашиваю его преосвященство. Офицер вежливо просит меня дать свое имя, я пишу, карточку уносят, и мы ждем. Я жду, удивляясь нашей дикой выходке.

Офицер говорит мне, что мы дурно выбрали время, что кардинал обедает и, очень вероятно, не будет в состоянии принять кого бы то ни было. Действительно, человек возвращается и говорит нам, что его преосвященство только что удалился в свои покои и не может принять, чувствуя себя не совсем здоровым, но что, если мы будем так любезны и потрудимся оставить свою карточку внизу и прийти «завтра утром», он, вероятно, примет нас.

И мы уходим, посмеиваясь над нашим маленьким визитом кардиналу Антонелли.

14 января

В одиннадцать часов пришел К., молодой поляк, мой учитель живописи, и привел с собой натурщика, лицо которого вполне подходит для Христа, если несколько смягчить линии и оттенки. У этого несчастного только одна нога; он позирует только для головы. К. сказал мне, что он брал его всегда для своих Христов.

Я должна признаться, что несколько оробела, когда он сказал, чтобы я прямо рисовала с натуры, так, вдруг, без всякого приготовления; я взяла уголь и смело набросала контуры. «Хорошо, – сказал учитель, – теперь то же самое кистью». Я взяла кисть и сделала, что он сказал. «Хорошо, – сказал он еще раз, – теперь пишите».

И я стала писать, и через полтора часа все было готово.

Мой несчастный натурщик не двигался, а я не верила глазам своим. С Бенза мне нужно было два-три урока для контура и еще при копировке какого-нибудь

холста, тогда как здесь все было сделано в один раз и с натуры – контур, краски, фон. Я довольна собой, и если говорю это, значит, уж заслужила. Я строга, и мне трудно удовлетвориться чем-нибудь, особенно самой собою.

Ничто не пропадает в этом мире. Куда же пойдет моя любовь? Каждая тварь, каждый человек имеет одинаковую долю этого «эфира», заключенного в нем. Только, смотря по свойствам человека, его характеру и его обстоятельствам, кажется, что он обладает ею в большей или меньшей степени. Каждый человек любит постоянно, но только любовь эта обращается на разные предметы, а когда кажется, что он вовсе не любит, «эфир» этот изливается на Бога или на природу – в словах, или письменно, или просто во вздохах и мыслях.

Затем есть существа, которые пьют, едят, смеются и ничего больше не делают; у них этот «эфир» или совсем заглушен животными инстинктами, или расходится на все предметы и на всех людей вообще, без различия, и это-то те люди, которых обыкновенно называют добродушными и которые вообще не умеют любить.

Есть также люди, которые, как говорят в общежитии, никого не любят. Это неточно; они все-таки любят кого-нибудь, но только особенным, не похожим на других, способом. Но есть еще несчастные, которые действительно не любят, потому что они любили и больше не любят. И опять вздор! Говорят, они не любят, – хорошо. Но почему же тогда они страдают? Потому что они все-таки любят, а думают, что разлюбили, – или из-за неудачной любви, или из-за потери дорогой личности.

У меня более, чем у кого-либо другого, эфир дает себя чувствовать и проявляется беспрестанно; если бы мне нужно было замкнуть его в себе, пришлось бы разорваться.

Я изливаю его, как благодетельный дождь, на негодный, красный гераниум, который даже и не подозревает этого. Это одна из моих причуд. Мне так нравится, и я воображаю бездну разных вещей, и привыкаю думать о нем, а раз привыкнув, отвыкаю с трудом.

20 января

Сегодня Фачио заставил меня пропеть все мои ноты; у меня три октавы без двух нот. Он был изумлен. Что до меня, я просто не чувствую себя от радости. Мой голос – мое сокровище! Моя мечта – выступить со славой на сцене. Это в моих глазах так же прекрасно, как сделаться принцессой. Мы были в мастерской Монтеверде, потом в мастерской маркиза д’Эпине, к которому у нас было письмо. Д’Эпине делает очаровательные статуи; он показал мне свои этюды, все свои наброски. Madame M. говорила мне о Марии как о существе необыкновенном, как о художнице. Мы любуемся и просим его сделать мою статую. Это будет стоить двадцать тысяч франков. Это дорого, но зато прекрасно. Я сказала ему, что очень люблю себя. Он сравнивает мою ногу с ногой статуи – моя меньше; д’Эпине восклицает, что это Сандрильона.

Он чудно одевает и причесывает свои статуи. Я горю нетерпением видеть свою статую.

Боже мой, услышь меня! Сохрани мой голос; если я все потеряю, мне останется мой голос. Господи, будь так же добр ко мне, как до сих пор, сделай так, чтобы я не умерла от досады и тоски. Мне так хочется выезжать в свет! Время идет, а я не подвигаюсь, я пригвождена к моему месту, я, которая хотела бы жить, жить, лететь, жить на всех парах, я горю и захлебываюсь от нетерпения.

«Я никогда не видел такой лихорадочной жизни», – говорил мне Дория.

Если вы меня знаете, вы представите себе мое нетерпение, мою тоску!

22 января

Дину причесывает парикмахер, меня тоже, но это животное причесывает меня безобразнейшим образом. В десять минут я все переделываю, и мы отправляемся в Ватикан. Я никогда не видела ничего, что можно было бы сравнить с лестницами и комнатами, через которые мы проходим. Как у святого Петра, я нахожу все безупречным. Слуга, одетый в красное дама, проводит нас через длинную галерею, украшенную чудной живописью, с бронзовыми медальонами и камеями по стенам. Направо и налево довольно жесткие стулья, а в глубине бюст Пия IX, у подножия которого стоит прекрасное золоченое

кресло, обитое красным бархатом. Назначенное время – без четверти двенадцать, но только в час портьера отдергивается, и, предшествуемый несколькими телохранителями, офицерами в форме и окруженный несколькими кардиналами, появляется святой отец, одетый в белое, в красной мантии, опираясь на посох с набалдашником из слоновой кости.

Я хорошо знала его по портретам, но в действительности он гораздо старше, так что нижняя губа его висит, как у старой собаки.

Все стали на колени. Папа подошел прежде всего к нам и спросил, кто мы; один из кардиналов читал и докладывал ему имена допущенных к аудиенции.

– Русские? Значит, из Петербурга?

– Нет, святой отец, – сказала мама, – из Малороссии.

– Это ваши барышни? – спросил он.

– Да, святой отец.

Мы стояли направо; находившиеся с левой стороны стояли на коленях.

– Встаньте, встаньте, – сказал святой отец.

Дина хотела встать.

– Нет, – сказал он, – это относится к тем, которые налево, вы можете остаться.

И он положил руку ей на голову так, что нагнул ее очень низко. Потом он дал нам поцеловать свою руку и прошел к другим, каждому обращая по несколько слов. Когда он прошел налево, мы должны были, в свою очередь, подняться. Потом он стал в середине, и тогда снова все должны были стать на колени, и он сказал нам маленькую речь на очень дурном французском языке, сравнивая просьбы об индульгенциях, по случаю приближения юбилея, с раскаянием, которое наступает в момент смерти, и говоря, что нужно снискивать Царствие Небесное постепенно, каждый день делая что-нибудь приятное Богу.

– Нужно постепенно приобретать себе отечество, – сказал он, – но отечество это – не Лондон, не Петербург, не Париж, а Царствие Небесное! Не нужно откладывать до последнего дня своей жизни, нужно думать об этом ежедневно и не делать, как при втором пришествии. Non e vero? – прибавил он по-итальянски, оборачиваясь к одному из своей свиты, – anche il cardinale… (имя ускользнуло от меня) lo sa.

Кардинал засмеялся, так же и все остальные: это должно было иметь для них особенный смысл, – и святой отец ушел, улыбаясь и очень довольный, после того как дал свое благословение людям, четкам, образкам и т. п. У меня были четки, которые я тотчас по приходе домой заперла в ящик для мыла.

Пока этот старик раздавал благословения и говорил, я молила Бога сделать так, чтобы благословение папы было для меня истинным благословением и избавило меня от всех моих горестей.

Было несколько кардиналов, смотревших на меня так, как бывало при выходе из театра в Ницце.

23 января

Ах, какая тоска! Если бы по крайней мере мы были все вместе! Что за безумная идея так разлучаться! Нужно всегда быть вместе, тогда все неприятности легче, и лучше себя чувствуешь. Никогда, никогда не нужно больше так разделяться на две семьи. Нам было бы в тысячу раз лучше, если бы все были вместе: дедушка, тетя, все и Валицкий.

7 февраля

Когда мы выходим из коляски у крыльца отеля, я замечаю двух молодых римлян, которые смотрят на нас. Сейчас же по возвращении мы садимся за стол, а молодые люди эти помещаются посреди площади и смотрят к нам в окна.

Мама, Дина и другие уже начинают смеяться, но я, более осторожная, из опасения поднять шум из-за каких-нибудь негодяев – потому что я вовсе не

уверена, что это те же самые, которых мы видели у двери отеля, – послала Леони в лавку напротив, приказав ей хорошенько рассмотреть этих людей и потом описать мне их. Леони возвращается и описывает мне того, который поменьше. «Это совершенно приличные молодые люди», – говорит она. С этой минуты наши только и делают, что подходят к окнам, смотрят сквозь жалюзи и делают разные предположения относительно этих несчастных, стоящих под дождем, ветром и снегом.

Было шесть часов, когда мы возвратились, и эти два ангела простояли на площади до без четверти одиннадцать, ожидая нас. И что за ноги нужно иметь, чтобы простоять, не сходя с места, пять часов подряд!

15 февраля

Р. приходит к нам сегодня, и тотчас же его начинают расспрашивать, кто этот господин. «Это граф А.[4 - Граф Пьетро Антонелли.], племянник кардинала!» Черт возьми! Он и не мог быть никем другим.

Граф А. похож на Ж., который, как известно, замечательно красив. Сегодня вечером, так как он смотрел на меня меньше, я больше могла смотреть на него. Итак, я смотрела на А. и хорошо разглядела его; он хорош собой, но нужно заметить, что мне не везет и что те, на кого я смотрю, не смотрят на меня. Он лорнировал меня, но прилично, как в первый день. Он также много рисовался, а когда мы встали, чтобы выйти, он схватил лорнетку и не отрывал глаз.

– Я спросила у вас, кто этот господин, – сказала мама Р., – потому что он очень напоминает мне моего сына.

– Это славный юноша, – сказал Р. – он несколько passerello, но очень весел, остроумен и хорош собой.

Я в восторге, слушая это! Давно уж я не испытывала столько удовольствия, как сегодня вечером. Я скучала и была ко всему равнодушна, потому что не было никого, о ком мне думать.

– Он очень похож на моего сына, – говорит моя мать.

– Это славный юноша, – говорит Р., – и если вы хотите, я вам представлю его, я буду очень рад.

18 февраля

В Капитолии сегодня вечером большой парадный бал – костюмированный и маскированный. В одиннадцать часов мы туда отправляемся – я, Дина и ее мать. Я не надела домино; черное шелковое платье с длинным шлейфом, узкий корсаж, черный газовый тюник, убранный серебряными кружевами, задрапированный спереди и подобранный сзади в виде грациознейшего в мире капюшона, черная бархатная маска с черным кружевом, светлые перчатки, роза и ландыши на корсаже. Это было очаровательно. Наше прибытие производит величайший эффект.

Я очень боялась и не смела ни с кем заговорить, но все мужчины окружили нас, и я кончила тем, что взяла под руку одного из них, которого никогда и в глаза не видывала. Это очень весело, но я думаю, что большинство меня узнало. Не нужно было одеваться с таким кокетством, ну да все равно.

Трое русских подумали, что узнали меня, и пошли сзади нас, громко говоря по-русски в надежде, что мы как-нибудь выдадим себя. Но вместо того я собрала целый круг вокруг себя, громко говоря по-итальянски. Они ушли, говоря, что были глупы и что я итальянка.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Английский аристократ герцог Гамильтон энд Брэнд.

2

Любовница герцога Гамильтона итальянка по имени Джойя.

3

Намек на какую-то сплетню, пущенную в Ницце относительно семейства Башкирцевых. (Прим. «Сев. Вестника».)

4

Граф Пьетро Антонелли.

Купить: https://tellnovel.com/mariya-bashkirceva/mariya-bashkirceva-dnevnik-kupit

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити